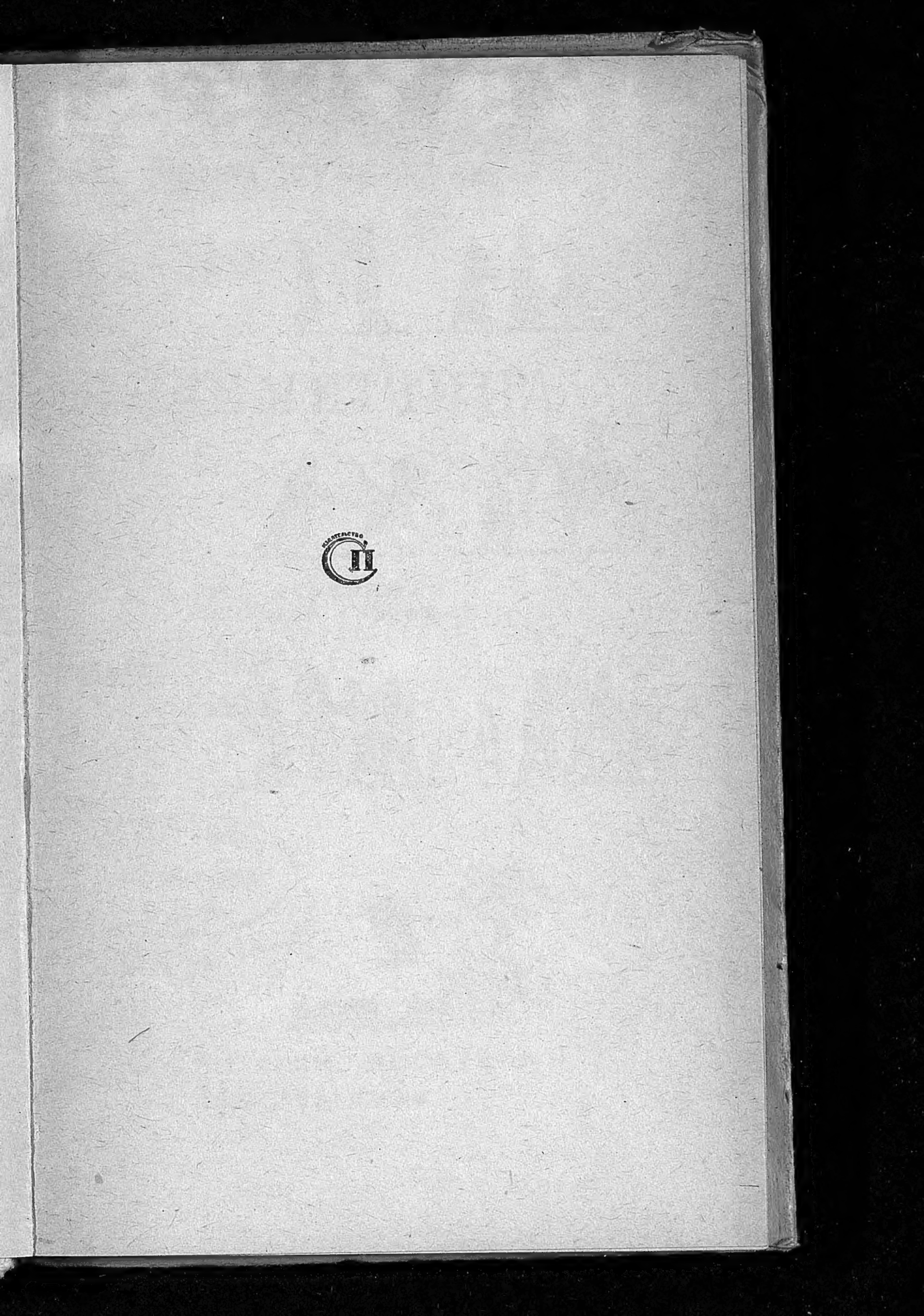
ТАТЬЯНА ДУБИНСКАЯ



ПУЛЕМЕТЧИЦА

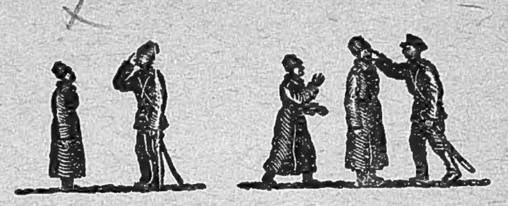
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА • 1936




П



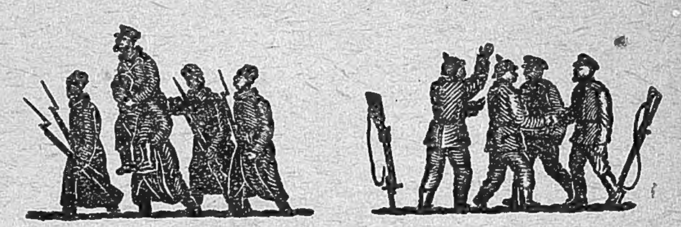
ТАТЬЯНА ДУБИНСКАЯ



ПУЛЕМЕТЧИЦА



ИЗ ДНЕВНИКА
МИРОВОЙ ВОЙНЫ





СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1936

ХУДОЖНИК
М. ФРАМ

Летчику
Николаю Иноземцеву

Глава первая

Поезд мчал маршевые роты к границе.

— На войну, значит, братцы, едем.

— Я на ярмарке в Туле молодую кобылицу купил, телегу починил, спицы в красный цвет покрасил, свадьбу отпировал, и прощай, моя молодуха.

— Жеребец у меня весной издох. Семейство без него, кормильца, осталось. Год деньги на него собирал. Под киотом берег... Все отдал до копейки.

— Чего разнюнились, ребята. Война-то, говорят, аккурат через месяц-другой кончится. И опамятоваться не успеем.

От махорочного дыма душно стало в вагоне. Я слышу, встал человек, загремел тяжелым засовом широкой вагонной двери.

— Задувает под утро-то. Холодно.

— Какой зябкий. Зачем дверь закрываешь? И без того дыхания нет никакого.

Солдаты улеглись. Дверь не закрыли.

*

Утро. Пора выходить из своей берлоги. От неудобного положения ноет тело. Будь что будет, — я выбираюсь из-под нар.

— Что за оказия? Что оно такое?

— Ты откуда взялся, малец?

— Я Сережа. Мне семнадцать лет. Возьмите меня с собой на войну. Я солдатом буду служить, на войну возьмите.

— Зачем он нам? Высадить его, ребята.

— Не трожь. Пускай едет.

— Так, с виду — как бы мой сынок. Вовсе как мой Петька. Пускай едет.

На остановке солдаты принесли котелки, наполненные щами. Поставили их на пол. Сели кружком.

— На, ешь.

Белобрысый веснущатый солдат вытянул из-за голенища деревянную ложку и протянул ее мне. Я была голодна, но эта облезшая ложка отбивала аппетит. Я взяла перочинный ножичек и, отвернувшись от солдата, поскоблила ложку.

— Чего ковыряешь? Ложка мне дареная. Мать подарила. Не тронь, говорю. — Мне стало стыдно солдата. Краснея и обжигаясь, я ела щи.

*

Станция Казатин. На платформе толпа людей. Между шпалерами жандармов про-

ходит генерал. Он идет к нашему поезду и обращается с короткой речью:

— За веру, царя и отечество — с богом, солдаты, вперед. — И, как-то вкривь улыбаясь, генерал отрывисто выкрикивает:

— Ура! Ура!

Из толпы вырвался вопль:

— Родненькие, куда ж вы...

Медленно тронулся поезд. Генерала окружили офицеры, а справа и слева от них построились солдаты. Усилились рыдания. Загремел оркестр. Отчетливей застучали вагонные колеса. Больше не видно было генерала. В сумерках вырисовывались лишь штыки его охраны. Все дальше и дальше уходил поезд.

*

После пятидневного путешествия нас выгрузили на станции Броды. Роты остановились у большого серого здания. На воротах надпись: «Штаб N-ой армии». Люди томительно ожидали дальнейшего маршрута. Наконец из дверей штаба вышли офицеры, раздалась команда: «Равняйсь, по порядку номеров рассчитайсь!»—и снова зашагали люди. Возле коменданта города солдат не надолго задержали. Комендант города, усатый ротмистр, дошел до нашей роты. Он подозвал к себе ротного командира:

— Поручик, это не годится. Запрещено всяким мальчишкам следовать за полком. Обуза от них. Завтра по этапу отправим на родину.

Я не могу сдержать слез. Руки трясутся, силясь расстегнуть большую санитарную сумку. Я вытаскиваю оттуда первый попавшийся мне перевязочный бинт. Сморкаюсь в него. Так вот для чего понадобился мне мой первый перевязочный бинт, заготовленный еще дома для раненых.

*

В камере со мной сидит женщина. Она берет жестяную кружку с водой, брызгает из нее воду на носовой платок и прикладывает к синей опухоли под глазом. На голове у нее коричневый платочек, туго стянутый под подбородком. Лоскутья ее грязного платья едва прикрывают белое-белое тело. Женщина смотрит на меня, из-за пазухи она достает папиросы и предлагает мне закурить.

— Ты, значит, на фронт задумала? Дело, — хриплым голосом проговорила женщина и вдруг закинула ноги и, примостившись у меня на коленях, устало посмотрела на меня. Я сидела не шелохнувшись. Боялась дышать. Под загнувшейся юбкой женщины виднелись с красным бантом желтые подвязки. Ее стоптанные черные туф-

ли, выпачканные в белила, спадали с ног. Женщина перевернулась на бок, приложила руку к опухшему глазу и, протяжно застонав, уснула. Я не боялась ее больше. Мне захотелось погладить ее светлые волосы. Откуда она? Кто сделал больно ее красивым глазам?

Слегка приподняв ее голову, я наклонилась к воде и поднесла кружку к губам. Резкий толчок в мой локоть, — вода расплескалась. И с грохотом покатилась кружка.

— Не пей, девка, я с сифоном хожу.

Женщина поднялась, чиркнула спичкой и задымила папиросой.

В коридоре чьи-то быстрые-быстрые шаги. В нашу камеру втолкнули мальчишку.

— Мы тебе покажем, как их благородие дразнить. Мы тебе урежем язык, чорт вихрастый. — Мальчишка встряхнул волосами и улыбнулся. Дверь захлопнулась.

— Как тебя зовут?

— Зиной.

— А зачем ты солдатом одета?

— Я на войну пойду.

— Ты девочка, и тебя на войну не пустят. А как ее зовут?

— Не знаю.

— Вместе сидите, и ты не знаешь?

— Меня зовут Анной Филипповной.

— А почему у тебя фонарь под глазом?

— Насчет фонаря тебя это не касается.

— Зина, а кто тебе ружье даст?

— Командир.

— А командиры сами делают ружья?

— Нет. Их на заводе делают.

— А я сам сделал и никому ружья не отдам. Только я с немцами не ссорился и в них стрелять не буду.

— А в кого?

— В собак, если будут бешеные.

В камеру постучали.

— На станцию, к отправлению по этапу вставайте, голодранцы.

Мальчик поднялся, выпрямил грудь и, задорно приложив маленькую чумазую руку к вихрастому виску, отдал честь солдату.

— Ну, что ж, идемте, дяденька.

Не успели мы выйти из ворот, мальчишка опрометью бросился бежать по дороге, конвоиры преследовали его. Воспользовавшись суматохой, я нырнула в первые попавшиеся ворота какого-то домика и забралась в огород. Лишь на рассвете я покинула приютившую меня высокую кукурузу. Я вспомнила свою вчерашнюю ночную соседку: почему она не побежала со мной? Разве ей было все равно?

Глава вторая

Я живу в землянке с двумя разведчиками, Сашей Гусевым и Трофимом Терехиным. У Саши белые курчавые волосы, а глаза синие-синие. Брови темные, а губы цвета спелой малины. Словом, то, что называется писаный. Сашка расстегнул ворот гимнастерки, из-под которой виднелась вышитая кумачевая рубашка. Такие я видела в праздник на заводских парнях.

— Сашка, подбери вышивку-то: ротный увидят, попадет тебе. И шнур спрячь,—уговаривает Сашу Трофим. У него дремучая борода, а лицо коричневое, словно он загорелым родился. Трофим съел кашу, встал с лежанки и часто-часто закрестился. Саша смотрит на него и ухмыляется.

— Чего ты пошел сюда? Думаешь, тут сладко? Часом так замаешься, кости все выламывает, а без сна какое томление. Иной раз так доведет: ходишь, как во хмелю. А тут глянь — офицер. Чести не отдал, — раз и наряд вне очереди. Тут вовсе

обомлеешь. Нет, паренек, сидел бы ты дома. Дома-то, наверное, не работаешь, руки-то у тебя какие холеные.

Дома сейчас мама, сестра Валька, отец, наверное, плачут, ищут меня. Мать давала уроки музыки, а отец работал в музее. Когда я, бывало, заходила к отцу, он всегда усаживал меня на диван и задавал один и тот же вопрос: «Ну как дела, Зинаидище?»

При воспоминании о доме мне становится тоскливо, я встаю и быстро выхожу из землянки.

Суетятся солдаты. Бренчат лопатами. Обозники запрягают лошадей. Экипаж командира полка подъезжает к землянке с таким шиком, будто это подъезд большого дома. Старик полковник уезжает. Люди все в сборе. Подошел Саша Гусев и сказал, что полк уходит на позицию. Не прошло и получаса, полковник возвратился из штаба дивизии. Ему подвели оседланную лошадь. Лошадей я очень любила; вот если бы мне на такого коня.

*

Я иду с четвертым взводом третьей роты. Льет дождь. Глина скользит под ногами, но я не хочу отставать. Мы прошли без остановки пять километров. Небольшой отдых. Люди не успели закурить, как снова раздалась команда фельдфебеля: «Становись!»

Двинулись дальше. У Терехина болит зуб, он не отнимает ладони от щеки.

— Долго ли шагать-то будем? — негодует Трофим, поднимает полу шинели и греет ею щеку.

Слева от полка, по шоссе тянутся повозки с беженцами. С трудом перебирая ногами, плетутся низкорослые лошади. На повозках набросаны ведра, корыта, подушки, одеяла. На связанных узлах сидят женщины. Мужчины идут, понурив головы. На передней повозке пищит ребенок, отчаянно теребя грудь матери.

— Ать-тя, ать-тя! — кричит мальчишка и подгоняет батогом лошадей. Напрягая последние силы, плетутся пегие.

— Ать-тя, ать-тя! — кричит мальчик, и, не успел он, замахнувшись, ударить лошадь, пегая упала.

Быстро вскочил на ноги ее малолетний хозяин. С повозки спрыгнула мать. Пегая лежала не двигаясь. Повернув голову, смотрел на нее конь.

Мальчик, не выпуская из рук батога, чесал свой затылок, растерянно оглядываясь на мать. Галичанка, поджав тонкие губы, выпрягала коня. Солдаты помогли ей оттащить лошадь в канаву. Женщина подошла к повозке, взяла на руки ребенка, и пошли они с мальчишкой, покинув свой скарб. Сзади, опустив голову, плелся одинокий конь.

*

Я не отстаю от полка. Иду нога в ногу с солдатами. У меня чудовищные сапоги. Нога так и ерзает в них и затрудняет движение. А сбросить — пожалуй, будут смеяться. Я не жду больше привала. Мне тяжелее итти после отдыха.

— Идешь, браток? — говорит фельдфебель. Лицо его изрыто оспой, за это солдаты прозвали его «рашпилем». Он подходит к задним рядам и орет: — Ширре шаг, четвертая рота, подтянись!

«Хорошо тебе кричать, когда на тебе сапоги по ноге. Ишь как пригнаны». Я смотрю на фельдфебеля с завистью и с негодованием, будто он виноват, что у меня такие большие сапоги.

Стемнело. Полк идет. Идет через поля Галиции, через освещенные луной погосты. Запоздавшие крестьяне идут с поля. На кресты падают тени от их длинных белых рубах.

Мы поднимаемся в гору. Видны огни. Близко деревня.

— Ой, тяжелое времечко, окопы да окопы. То ли дело, как перли на штурм Седлисской группы под Перемышлем. А теперь — сиди и сиди. Бьет по нас германец и бьет. Ажно сил нет терпеть.

Пришли в деревню Заставки. Слышен голос:

— Квартирьеры, сукиного сына, роты размещайте.

Открываются ворота. Нас восемь человек входят во двор. Разбуженная неожиданным появлением ночных людей, рвется на цепи собака... Я ухожу в сарай. Снимаю сапоги. На моей ступне сплошной пузырь. Усталость придавила тело. Не поужинав, ничего не соображая, как подпиленное дерево, я падаю в сон.

*

Солнечное ясное утро. Сон миновал, и вместе с ним прошла усталость. Словно и не было вчера такого длинного перехода. Руки проворно натягивают высохшие, покоробившиеся сапоги. Все пришло в действие; я быстро собираю свои вещи для нового перехода. Взглянула на себя в зеркальце. Лицо мое загорело. Вот посмотрели бы на меня сейчас родные. Я здесь и ноги на ночь не всегда мою, а дома разве пустили бы спать с немытыми ногами. Их здесь дождик помыл. И силы прибавились: пожалуй, сестру Вальку одной бы рукой подняла.

— Ты чего, Серега, себя рассматриваешь? Хватит, собирайся быстро. А ты, так сказать, молодец. Отмахали-то мы, знаешь, сколько? Тридцать километров. Завечереет, пойдем на позицию. — Саша Гусев пре-

рвал мои размышления. Я надела вещевой мешок и покинула ночлег.

*

— Бросай папиросу, прекратить курение!

Роты медленно, не шумя идут лощиной. Над моим ухом пронзительно засвистело.

— Серега, нагибайся, пуля летает. Нагибайсь.

— Почему нагибаться? — Саша не отвечает. Я иду пригнувшись. Падает луч света, вначале узкий, а потом все шире и шире. Гусев тянет меня за рукав, и мы стремглав падаем.

— Откуда свет? Почему упали, Саша?

— Не до тебя теперь. Видишь, австриец прожектором водит. Лежи и молчи. Нащупает, сейчас гранатой всыпет.

— Саша, а граната большая? Гусев, а война еще далеко?

— Уймись, говорю. — Я пододвигаюсь, на всякий случай, ближе к Саше. Раздался удар, и мне показалось, что земля задрожала под нами. От тревожных Сашиных слов, от какого-то таинственного шороха неведомо куда идущих людей мне страшно. Может, повернуть обратно? Убежать? Нет. Я пойду с ними. Разве Саша не такой же человек, как я? Это ничего, что он

мужчина. И у него есть голова и руки и ноги. Я выпрямилась, но в это мгновение загудело над головой и, грохнувшись, треснуло с огнем. Я снова падаю.

— Немец не дурак, — успел лощину пристрелять. Лежите тихо теперь. И ты молчи, Сережа: видишь, прицел-то взял правильный; пожалуй, и по нас угадает.

Люди залегли, потом поднялись и снова залегли.

— Перебежку делаем.

— ...ой... ой... ратуйте... ой...

Ранило кого-то; в первый взвод угодило.

В лощине стало тихо. А затем какие-то люди пробежали мимо нас. Наклонились над раненым. Разрывы больше не вспыхивали.

— Вот и ход сообщения. Прибыли, значит.

Это Терехин подошел к нам. Мы входим в темный коридор. Идем «гуськом». Я щупаю рукой по сторонам. Скользит под ладонью. Щекочет.

— Свеженькая земля-то. Червяки высунулись.

... Черви, противно здесь. Не пойду дальше.

— Ну, чего ты уперся словно бычок и не идешь дале? Стрельба уж поутихла малость. Чего напугался? — Солдат толкнул меня в спину. Мы поворачиваем направо. Теперь итти просторнее. В ночной темно-

те, склонившись над чем-то,—едва видимые силуэты людей.

— Трофим, что там за дырка? Что там солдаты делают?

— Это тебе не дырка, а бойница. В нее вставлена винтовка. Так стреляют из окопов.

*

В убежище, кроме Гусева, Терехина и меня, поселились еще два разведчика: земляки Черешенко и Запорожец. Сидя в землянке, Черешенко приходилось сгибаться «в три погибели». Оба земляка были очень тощи и высоки. Подобных им великанов не было в полку.

Терехин снял с себя шинель и бросил ее мне:

— На, Сережа, спи. Напугался там, в лощине? Не иначе, как немец сидит против нас. У него как в гробу тихо. Австрияк, тот не такой. Беспокойный он, страсть, то-и-дело из пулемета или из винтовок стреляет. Несколько раз за ночь-то откроет огонь. А немец, тот не боится нас. Нет. С немцами всегда будь на-чеку. Ребята, пошли в караул.

Все четверо поднялись и ушли из землянки. Я осталась одна. И все думаю: как же мне сказать, что я не мальчик? Трудно очень в разговоре, да и зачем скрывать?

В землянке мерцает огарок свечи. А что если сейчас придет немец? Лучше я пойду к Гусеву. Поищу их всех в ходе сообщения. С ними не страшно. Я придавливаю фитиль свечи и ухожу. Иду осторожно, чтобы не попасть в волчью яму, — о них я еще дома читала. Шаркаю ногами, едва касаясь земли. Людей не видно. Только чуть слышны тихие голоса. А вдруг я попаду в плен? Чорт его знает, куда ведет этот ход сообщения.

— Эй, кто там? — кричу я. Собственный голос кажется мне внушительным, я храбро иду вперед.

— Ты чего горланишь? Это тебе не у себя дома.

Незнакомец привел меня к нашей землянке. Я зажгла свет. Солдат полез в карман, достал оттуда маленький карандаш.

— Ты, говорят, хорошо грамотный, — давай пиши письмо домой, пиши огромадными буквами, чтобы ясно было. Ну, пиши, только все, как я буду говорить.

Любезные мамаша и папаша.

Свидетельствую вам свое почтение и шлю низкий поклон. Сестрице Прасковье почтение и низкий поклон. Братцу моему Митьнаке низкий поклон. Дорожайшему куму нашему мое почтение. Я для них мазь в околотке выпросил. Как только у него, кума

нашего, колонет в ногах, сейчас надо и покласть эту мазь. Дорогая мамаша, засвидетельствуйте мое почтение Агриппине Васильевне, что в церковке всегда на клиросе стоят и жалобно так поют. Вы их, мамаша, враз узнаете. Они ходят в розовой кофте и в зеленых, как наша травка на бережку, юбках. Папаша, пропишите мне, что у вас в волости про войну слыхать? Надоело на фронте пребывать, все нутро выворачивает. Вошь до нас солдат нещадная, и ходит она степенно по всем членам нашего тела, степенно ходит, будто гуляет. Пожелаю вам оставаться в полном здравии. Жду от вас послания. Пропишите мне еще, продали али нет телку нашу Катеньку? Мамаша, я снова поворачиваю к вам с просьбой, не забывайте кланяться Агриппине Васильевне, я сам им в скорости отпишу. Прилюбились они мне шибко. Остаюсь преданный вам сын, несчастный в окопах, Алексей из фронта.

Запечатав письмо в конверт, я отдала его солдату.

— Слушай, паренек, а ты все в точности прописал, как я говорил? Я тебе, как только в немецкие окопы заскочим, фуфайку офицерскую подарю.

— Я написала все, как ты просил.

— Ну, на этом тебе спасибо. Пойду в караул. Время.

Солдат завернул письмо в клочок бумажки, спрятал его под фуражку. Ушел.

*

После ночного дождя поле было такое теплое-теплое. Я взбираюсь на траверс. Мимо в окопах прошел какой-то солдат, потянул меня с траверса; но он прошел, и я снова забралась наверх. Недалеко стоят хаты с разбитыми окнами. Видна линия австро-германских окопов; далеко вправо, к участку второго батальона, окопы идут зигзагами. Ни одного человека не видно. Никто не показывается поверх траверса. Только недалеко от меня на бугорке сидит галка. Возле восьмой роты грохнул снаряд. Поднял пыль, не разорвался. Я укрылась в ход сообщения.

Иду в роту. Буду сейчас учиться стрелять из винтовки. Расположены солдаты очень редко. Шагов на десять—пятнадцать друг от друга. Попрошу вот этого, с рыжей бородой, я его знаю. Его зовут Василий Климыч. Козырек его фуражки надвинут на нос, зубами он держит шнурок кисета. Скручивает длинную папиросу. Аккуратно свернул красный кисет и прячет его в карман валяющейся шинели. Поправляет кокарду-крестик. Из хода сообщения идет офицер. Направляется в нашу сторону. Я его видела однажды в обозе. У поручика

коричневая гимнастерка. Брюки синие, а не защитного цвета, как у всех офицеров. Сапоги бутылочками, вычищены до блеска. Красиво одет. И весь такой чистый. Он подошел к Климычу. Взял винтовку. Присмотрелся. Покраснел. Сжал кулаки.

— Сволочь бородатая, прицел взял неправильный. Впустую бьешь, патронов не жалеешь.

— Ваше благородье, за что бьешь? В сынки ведь мне годишься.

— Молчать, косматая бестия! — Поручик размахнулся, снова ударил Климыча. Климыч, шатаясь, опустился на ступеньки.

— Встать, стерва рыжая! Не умеешь с офицером разговаривать.

Поручик резко повернулся в мою сторону. Я взглянула на него, и меня испугали его холодные, какие-то бесцветные глаза. У поручика раздувались ноздри, его тонкие губы подергивались. Он посмотрел на меня.

— Чего без толку лазишь, щенок?

— Некрасиво драться. Вот.

— Пошел вон, говорю. Да не показывайся мне больше на глаза.

Я вернулась к Климычу. Он вытирал лившуюся с лица кровь.

— Видал, паренек, побил-то как? Щеголь такой, — поручик Замбор. Повсегда в обозе сидит, а придет на позицию, враз скровенит. И за что мы только мучаемся?

Козью ножку испортил, сучий сын. Закурить теперь нечего.

*

Саша стоял возле землянки, перед ним висел котелок, наполненный водой. Саша набирал в рот воды так, что щеки его отдувались, и выпускал воду в пригоршню. Умывшись, он снял обмотанное вокруг себя полотенце, расшитое петушками, и тщательно вытерся. Посмотрел на себя в зеркало, расчесал кудри и запел:

...Вы не вейтеся, русые кудри...

— Ты где пропадал?

— У Василия Климыча стрелять учился.

— Ну и как? Научился?

— Ну да научился.

— А не врешь?

— Спроси его сам, если не веришь.

— А языка видел? Сам пришел. Батальонный его спрашивают: якого регементу? А он молчит, ни слова. Погнали его в штаб.

— Ребята, вылазь, командир дивизии с начальником штаба по окопам ходят,—торопливо объявил вестовой и побежал дальше.

— Чего это его нелегкая занесла? Не иначе, как снег выпадет.

— Это который же командир дивизии? Он генерал?

— Гляди, вот этот высокий, бравый —

командир дивизии генерал Мичволодов. При нем начальник штаба, а тот, безрукий, знаешь его, капитан Мельников; он у нас временный батальонный, а наш-то, капитан Крапивянский, скоро вернутся, раненый он. Капитан Крапивянский—боевой, страсть. И до нас солдат обращение у него очень уважительное.

Стройный, высокий, в черкеске, с небрежно накинутым на плечи белым башлыком, позванивая шпорами, выступал генерал. Он прикладывал белоснежный платок к седым усам и, поминутно щурясь, что-то говорил начальнику штаба. Начальник штаба, полковник Неймирок, шел за генералом и, покачиваясь, как селезень, вносил записи в книжечку. Капитан Мельников, поджав губы, одинокой правой рукой показывал начальству на бойницы. Сзади мелкими шажками догонял генерала командир полка полковник Свирский.

— Полковник, а это что за элемент?

— Ваше превосходительство, это наш Сереженька, мы его взяли добровольцем. Разрешите оставить?

Я замерла от ожидания и втянулась вся в плечи. Генерал Мичволодов смерил меня щурящимися глазами с головы до ног.

— Можно оставить. Занятный экземпляр. Надо будет поближе с ним познакомиться. Пришлите его к нам в штаб погостить. Мы его сфотографируем.

*

Терехин заболел. Его лихорадит. Ротный разрешил ему лечь в околоток.

— Ну, Сережа, идем. Провожу тебя до деревни. Командир-то полка еще поутру передавал представить тебя в штаб дивизии. Смотри, не забудь, как я учил тебя стоять перед генералом.

В землянку вошел Климыч.

— Ну, здорово. Как живешь, Трофим? Неужто напасть какая объявилась? Куда это вы собрались? Ишь, Сережка-то, как яблочко наливное, а вот волосы малость обкарнать надо. Давай, Саша, машинку, подъегорю я его вмиг.

Процедура с волосами длилась недолго.

— Куда ж вы собрались? — снова спросил Климыч.

Сашка объясняет ему.

— Ну, ладно, смотри не загостись у генерала. Приходи обратно. Ты неплохой паренек.

Глава третья

— Ваше превосходительство, разрешите? Гостя привел.

Дверь распахнулась. Генерал отодвинул табуретку, на которой лежали его ноги, и приподнялся с постели.

— Милости просим. Поручик, вы свободны.

— Ннн-у-с..., если не ошибаюсь, Сережа, кажется. Так?

Я смотрю на генерала, генерал на меня. Я стараюсь вытянуться перед ним «в струнку», как меня учил Трофим. На этот раз генерал не мерит меня глазами с головы до ног. Он упорно и пристально смотрит на мою грудь. Я попрежнему стою все в той же позе — то опускаю ресницы, то снова их поднимаю. Я чувствую, как краска покрыла мое лицо. Посмотрела на генерала. Прошло мгновение, но миг этот показался мне бесконечным. Генерал смотрел... Смотрел и щурился. Для меня стало ясным одно: то,

что мне удалось так ловко скрыть от солдат, не удалось скрыть от генерала.

Он подходит ко мне. Берет за плечи и низко наклоняется над ухом:

— Ты девушка? Имя?

Я так же тихо ему отвечаю:

— Зинаида. Ваше превосходительство, обращаюсь к вам с просьбой: оставьте меня в полку.

Генерал взял меня за подбородок, притянул к себе:

— Крошечка, тебя же убить могут.

И громким, решительным голосом:

— Ладно, отдам распоряжение в полк. Зачислят приказом.

И опять тихо:

— На длительной стоянке приходи. Буду ждать тебя. Придешь?

Я съежилась вся, приложила руку к козырьку:

— Слушаюсь, ваше превосходительство! Разрешите в полк вернуться?

Генерал Мичволодов еще раз спросил, приеду ли я, прижал к себе и дохнул на меня. От него пахло очень празднично — вкусными пряниками, тортом, шоколадом и духами.

— Ступай, цыпленочек, отвезут тебя.

Я шла быстро, не оглядываясь. Мне казалось, что вот-вот на меня обрушится что-то непосильно тяжелое. Ненужное. Мне

хотелось поскорее попасть в окопы, к Саше, Трофиму, и Климычу. И все им рассказать. Я думала, что они все поймут, и я не поеду больше в дивизию. Трофим, Саша — все они в серой шинели, в неуклюжих сапогах, часто в грязной, засаленной гимнастерке, но все они не такие злые, как офицеры. Зачем меня ущипнул Мичволодов?

*

— Сынок, а сынок, помоги мне, касатик.

Санитары остановились и медленно опустили носилки. Я наклонилась над раненым. Австрийцы свирепо и оглушительно весь день громят из орудий. В этот день я впервые так близко видела раненых. Гимнастерка и рубаха солдата изрезаны на куски. Кровь льется из маленького отверстия на боку. Солдат стонет.

— Миленький, приподними меня: может, полегчает.

Я изо всей силы тяну раненого за плечо.

— Ой-ой... сердешный, отпусти, не трожь.

Я опускаю солдата. Снова несут кого-то. Голова раненого обвязана марлей. Он кажется мертвым. На повязке запеклась кровь. Санитар бросил мне бинт:

— На наложи ему свежую повязку; видишь, марля присохла, теребит ему голову.

У меня дрожат руки, я легонько разматываю бинт. Повязка подходит к концу. Я сняла ватную подушечку, открылась рана, а на марле остались кусочки мозгов. У меня помутнело все перед глазами, все вокруг завертелось. Подступила тошнота.

— Мить, а Мить, не может он перевязать, ишь, оробел. Ах ты, слюня. А ну пусти!

Санитар снял мозги с ваты и вложил их обратно в голову солдата.

— Не выживет. Зря несем.

Поднялись. Пошли, тяжело ступая.

*

— Надо ребят проведать. Ты сиди здесь. Не выходи никуда. Кроет с правого фланга, пули вдоль окопов сыпет. Не знаю, как доберусь к землякам.

— Саша, и ты не ходи.

— Подымай, подымай, чего остановились? Рана-то не пустяковая. Да, гляди, по дороге не давай воды. Ничего не давай пить.

Однорукого капитана Мельникова ранило в живот. Позже мы узнали: несмотря на строгие наставления не давать ни капли жидкости раненому капитану, денщик Мельникова Шехтер несколько раз поил своего командира водкой, которую всегда носил в фляжке. Тяжело раненый капитан

закусывал водку колбасой и выздоровел на диво лазаретным врачам.

— Эй ты, на, почитай.— Саша вернулся недовольный и протянул мне бумагу.

ПРИКАЗ №...

(по 74 Ставропольскому полку)

ПУНКТ 1

Командира 1-го батальона капитана Мельникова С. М. считать выбывшим по ранению.

ПУНКТ 2

Командира 1-го батальона капитана Крапивянского, вернувшегося после ранения, назначаю командиром 1-го батальона.

ПУНКТ 3

Командование 1-ой ротой возлагаю на прибывшего из лазарета после болезни поручика Ероша.

ПУНКТ 4

На вольноопределяющегося Шанского Д. М. за несвоевременную отлучку из команды разведчиков налагаю арест на десять суток, который отбыть при полковой гауптвахте.

ПУНКТ

Находящуюся при третьей роте доброволицу Зинаиду Крамскую (она же Сергей) зачислить на все виды довольствия и с 7-го с. м. считать прикомандированной к команде пеших разведчиков.

— Так вот оно что. Генерал исполнил свое обещание.

Я гляжу на Гусева. Он смотрит на меня с удивлением.

— Гусев, ты не сердись.

— Чего серчать? Не виновата, чать, твоя мамка, что родила дочку, а не сына.

— Саша, возьми меня с собой в разведку. Идем сейчас.

— В разведку не ходят днем; это если полк в движении, тогда дело другое. Бывает. А тут поди-ка высунься, сейчас прихлопнет. А ловко ты нас обдурила. Как же это мы-то ничего не приметили? Уж очень ты на мальчика схожа. Ну, ладно. Ночью пойдем. Приказано подрезать проволочные заграждения. К атаке готовятся.

— Здравствуй, Сережка. Ах, я и забыл, — Зиной тебя кличут. Да?

— Трофим, я пойду с вами в разведку.

— Брось, куда там, не бери ее, Саша. Ты, Зина, от страха помрешь.

— Он уж обещал. Пойду я. Почему вам можно, а мне нельзя?

— Да мы разве по своей охоте идем? Кому охота на смерть без всякой причины итти?— сказал Саша.

— А война?

— Ну и что ж, что война. Не за свое добро воюем. Ну, давай обедать. Бери котелки, раздатчик пришел. Потом на досуге поговорим.

*

Мы ползем к проволочным заграждениям. Сердце замирает от ночной неизвестности. Что там впереди? Двигаться трудно, нам попадаются большие кочки глины. Высохшая земля давит телю.

— Зинка, бери левей, — тут калюжа.

Черешенко отползает от меня.

— Саша, больно ползти, кругом кочки.

— Ты боком пробирайся. Легче будет. Тихо... не шуми. Скоро заграждения.

Мне жарко. Я расстегнула ворот гимнастерки. Просвистела пуля. Вторая продребезжала.

— Издалека стреляет. Такой пулей как вдарит, вырезать понадобится. Бессильная она. На излете.

— Терехин, ты?

Тихо. Я одна. На левом фланге открылся беспорядочный огонь из винтовок. Над участком нашего батальона засветились ракеты. Голубовато-зеленые, они падали

медленно-медленно. Климыч говорил, что у австрийцев ракет очень много, а нам отсырелые присылают. «Пускают, пускают их, а толку никакого». Что же это такое? Я зацепилась рукавом о клубок колючей проволоки. Тяну рукав изо всей силы. Он не поддается. Не уйти мне теперь отсюда. От страха дрожь пронизывает тело. И вдруг становится жарко.

— Саша, Трофим, где вы? — Никто не отвечает. Близко разорвалась шрапнель. Свет прожекторов бегает быстро-быстро. Спрячется на секунду и вновь появляется в том направлении, где пробирались наши разведчики.

— Саша, где ты? — Никто не слышит меня. Коротко забил пулемет. Мне пришел в голову самый простой выход из положения.

Снимаю гимнастерку. Я быстро освобождаюсь от этих противных железных шипов. И на четвереньках, чтобы поскорее добраться до окопов, я отступаю.

— Та що це таке? Та то никак Серега, чи Зинка.

По разговору узнаю Черешенко.

— А где остальные?

— Где, где? А вот на що ты на карачках ползешь? Не чуешь разве, як пулемет таракочет? Вот засадит тобі в зад, будешь тогда на карачках ползать. Хиба ж так перебежку делают?

Ночной ветер задувал в грудь. Разорванный рукав рубашки развевало ветром. В землянке я нашла в вещевом мешке суконную куртку и натянула ее на себя.

— Ты куда провалилась, Зин? Я от тебя отполз малость, гляжу, а тебя нет. Ты, наверное, Черешенко увидала и с ним пришла? Зин, а где твоя гимнастерка?

— Гимнастерка! А вот почему вы меня бросили? Гимнастерка осталась на проволоке у немцев. Вот. Смеешься? Не стыдно тебе?

— Да ну, и пошутить нельзя. Я никому не расскажу, а Черешенко, может, и не заприметил в темноте. Наступать, Зин, полк не будет. Разведчики на правом фланге обнаружили себя. Теперь дело у них не выйдет.

Всю ночь окопы соседней дивизии обстреливались артиллерийским огнем. Близкое расстояние от австрийских окопов спасло батальон от обстрела. Из-за боязни попасть в своих немецкие пушки молчали.

*

— Ваше высокоблагородие, вы меня вызывали?

В просторном, сделанном из толстых бревен блиндаже, на складной кровати, сидит командир полка. Здесь имеется столик, и на нем керосиновая лампа. На стен-

ке у постели висит фотография мальчика в кадетской форме; волосы у него подстрижены «ежиком», а нос вздернут кверху. Кадет снят на стуле, а ноги у него не достают пола. Рядом с командиром полка «дыбом» поставлен чемодан. На чемодане стоит закоптелый чайник. Седой маленький полковник тянется за газетой. Его глаза слезятся, как у Валькиной собачки, Тобика. А усы, прокопченные никотином, заканчиваются ниточкой. Глаза старика слезятся и улыбаются.

— Брось вытягиваться. Чего выдумывать. Такие вот дела: тебя разыскивают родные. Просят вернуть домой. Поедешь?

— Нет. Возвращаться не буду. Здесь привыкла.

— Твое дело. Силой не отправим. Все равно опять убежишь. Молодость. Но подумай сама: здесь чрезвычайно опасно, тебя могут убить, родителям горе будет неутешное. Привыкла, говоришь? Ты мне все рассказывай. Я тебе, как отец родной. Моя внучка, Марина, твоих лет, а внученок, — вот его фотография, видишь — его фотография, — он в кадетском корпусе учится.

— Я к походам привыкла. И к солдатам.

— К солдатам? А к офицерам?

— Офицеры мне нравятся — они красиво одеты, только они злые. Они хуже, ваше высокоблагородие.

— Ты меня зови Станиславом Казимировичем. Так офицеры хуже?

— Офицеры хуже. Они насмешники. Можно итти?

— Нет, ты погоди.

— И солдат они бьют. Это некрасиво.

— Здесь, в окопах, редко бьют. Изредка, для поднятия дисциплины.

— И надо мной смеются.

— Ты девушка, и для них забавно.

— Ну что ж из того, что я девушка? И девушки могут быть на войне. И совершать переходы. Сначала немножко трудно, а потом я, например, втянулась. И даже я сильнее стала. И стрелять умею.

— А австрияков много уложила?

— Нет. Я еще в них не стреляла.

— А в кого?

— В галок.

— Эх ты, вояка. Солдат в галок не стреляет. Ну, ладно, ступай. На, возьми.

Полковник дал мне плитку шоколада.

— Семен, проводи барышню в роту.

Денщик Свирского вежливо дал мне дорогу. Мы переступили с ним порог командирского блиндажа.

— Ты вот что, Семен, — иди к себе. Я и одна отлично дорогу знаю. Я такой же солдат, как ты. — Я приподнялась на носках и похлопала Семена по плечу. — Иди, иди.

— Ишь ты какая. Солдат. Ну и чудеса в решете.— Семен, ослушавшись командира полка, крадучись, тихонько повернул к своей землянке.

Рассвет. Ружейные выстрелы вспугнули птиц. Они вспорхнули и всем семейством поднялись высоко-высоко.

Я еще раз перечитала письмо к родным.

Дорогие мама, папа и Валька.

Пожалуйста не пытайтесь вернуть меня домой. Я не поеду. Я уехала на фронт, меня поймали, я убежала и сейчас нахожусь в пехотном полку, на войне. Я проходила по тридцать километров, и ничего. Вот, Валька, ты пришли мне папирос. У меня есть знакомые солдаты, они угощали меня пряниками и пирогами с горохом; им прислали из дому посылки. Сначала я выдавала себя за мальчика, а сейчас все уже знают, кто я. Один из офицеров, поручик Замбор, когда узнал о том, что я девушка, прислал мне духи. Я видела, как этот поручик избил в кровь солдата Климыча, моего знакомого. Мне Замбор стал неприятен, хотя он очень красиво одет. Письмо вам бросит в ящик один солдат, он едет в Киев в госпиталь. Ну, вот и все. Целую вас всех и Алексевнушку. Зина, рядовой третьей роты.

Глава четвертая

Молодой, свежий лес шумел солнечной радостью лета. Здесь люди расположились бивуаком. Саша смотрел на гибкую березу, на ней раскачивалась голубая синичка-лазоревка: она выклевывала брюшко из белого мотылька.

— Обедает. Смотри-ка на нее, сама-то, так сказать, ростом с мотылька. Хорошо ей! Вольная.

— Ты глянь, лес-то какой пахучий. И цветков много. Машка моя страсть цветки любит. На, возьми. У нас за деревней земляники много. — Я смотрела на подарок Трофима — на сиреневые колокольчики. Я слушала Сашу, Трофима. Голоса их стали какими-то мягкими, они говорили о птицах, о лесе, о цветах с ласковой нежностью.

— Я вам расскажу, был у меня такой случай. Годов мне было тогда семнадцать. Поехал я в деревню, куда сестра моя за-

муж была выдана. Было это как раз в Троицын день. Симпатия у меня была — Глаша. Шли мы с ней, шли по лесу, видим — дед идет. Ему уже сотый годок миновал. Пасечник он. Подходим к нему, а Глашка мне и говорит: не слышит он. И глаза у него плохо видят.

— Ты куда идешь?

— К барину, слуга его приказали. Надо барину пояснение дать, почему мед с пчелками представил. — Сел дедушка на пенек. И мы с ним передохнули. Береза над нами стоит. Кучерявая, вот как эта. В жисть свою не забуду я, вспомнить — сердце гудит. Пошли мы с дедом на помещичий двор. Спрятались с Глашкой, смотрим. Вышел барин, а в руках у него тарелка большущая с медом. Соты жирные, налитые. Подходит барин да как хлобысь весь мед прямо деду в лицо. Дед упал, извинения всякие выпрашивает. «Пчелок я, барин, забыл убрать»... «Веди, — говорит, — его в сарай, подогрей ему его гнилье старое».

Повели деда в сарай, и мы с Глашей туда пробираемся. Смотрим в щелку, а там деду тиковые-то спустили и ну, давай его лупцовать. Розгами били. Застонал дед. Стонет, а бред от него такой исходит: «Пчелки мои, хорошие пчелки-сиротки...» Да больше ничего и не сказал. Прикончился.

Саша замолчал.
Где-то охнуло орудие.

*

К утру наш батальон оттянули к фольварку Михалки, расположенному на опушке леса. Там, в большом овраге, разместились кавалеристы. Земляк Трофима еще утром сообщил обозные новости: полки поведут наступление на Залещики и станцию Окна. А кавалерия будет преследовать неприятеля. У кавалеристов суровые лица. На голове у них папаха-овца. Сашка сказал, будто бы это текинцы. Они ежеминутно поглядывали на стоящих в стороне лошадей. Таких поджарых лошадей я еще не видела. У них маленькая голова, реденькая грива и длинный серый хвост. Всадники разложили костры. На искривленном клинке трепыхалась утка. Запахло гарью. Офицер-пехотинец отдал приказание погасить огонь. Кавалерист улыбнулся.

— А ты зачем нечестно сражаешься? Зачем в землю прячешься?

Костры горели. Предостерегающе ухнул снаряд. Кавалеристы бросились гасить огни. Но легче пламя потушить, чем рассеять дым. Рвущаяся над лесом «журавлем» шрапнель сменилась тяжелой гранатой. В суматохе побежали текинцы к своим лошадям. Граната разорвалась, вздымая землю. Осколком снаряда ранило лошадь. Ка-

валеристы наклонились над раненым конем. На бордовой от крови траве, вытянув красивые, стройные ноги, лежала лошадь. С трудом поднимая голову, потухающим взором смотрела она на распоротый живот. Хрипя стонала. Один из кавалеристов сбросил с плеч лохматую бурку, осторожно с товарищами они положили на нее лошадь. Под сильным орудийным огнем кавалеристы поволокли тяжелую ношу — боевого товарища.

К вечеру утихла артиллерийская стрельба, но не умолкли стоны.

Розовел лес от заходящего солнца.

Наклонившись над трупом лошади, широко открыв глаза, в немом отчаянии своего горя, молча оплакивал всадник свою потерю, свое сокровище.

*

С утра носились вестовые по окопам и ходам сообщения. Полевой телефон гудел, по нескольку раз вызывая офицеров к командиру полка. Беспокойные шаги начальства заставляли настораживаться солдат. Мысли о бое так же подавляли сознание, как и горбатая гора-подкова, увенчанная короной немецких окопов, подавляла ту равнину-ладонь, по которой проходили наши траншеи. Но из штаба дивизии требовали восстановить положение. Младшие

офицеры, говоря солдатам о наступлении, добавляли: «Позицию противника надо взять, генерал Мичволодов приказал». Солдаты готовились к бою. Ночью пришли кухни, гуськом потянулись денщики, бренча судками. Солдаты ели вяло. Поев, собирались вместе; сидя на земле, они дремали, оперевшись о стволы винтовок.

Чуть свет забили батареи. Облаком разрывов затянуло все пространство австро-германских окопов. Там молчали. Откуда-то справа электрическим током ударило:

— Вперед!

Унтера и младшие офицеры, поспешно выпрыгнув на бруствер, отбежали шагов на десять и залегли. Солдаты, высунув головы, выскочили и залегли в траве беспорядочной цепью. Австрийцы не стреляли. Цепь поднялась и пошла. За ней двинулась еще одна линия солдат. С фронта открылся редкий ружейный огонь, но первая цепь не ложилась. До австрийских окопов оставалось не больше трехсот шагов. Офицеры остановились, дали команду. Люди стали перебегать пачками из-под бугорка на бугорок, они накоплялись в складке, идущей под самым носом противника.

В это время ожила занятая германцами страшная подкова.

Огонь винтовок и пулеметов «пришил» нас к земле. По нашему резерву забили гаубицы. Вторая линия, бодро шедшая под

прикрытием первой цепи, изогнулась и зарылась в землю. Частый огонь. Заработали пулеметы. Там не рассчитали, — артиллерия немцев уже не могла бить по наступающим, боясь попасть в своих. Эхом разнеслось ура. Широкие ворота подрезанных ночью проволочных заграждений пропустили атакующих. Словно муравьи заметались в панике и бросились из своих убежищ австрийцы.

— Коли его, коли! — кричали офицеры.

Люди побежали вдоль хода сообщения, их внимание приковали австрийские ранцы.

— Гляди,ребята, тут кроны, ей-бо, кроны.

— Не задерживайся! Вперед! — раздался офицерский окрик.

Растянувшись вдоль окопа, лежал раненый австриец. Из его полного живота лилась кровь. Люди, не перескакивая через него, тяжелым сапогом давили его грудь, устремляясь вперед. Нечеловеческим криком вырвалась мольба: «Застрелите меня».

Напрягаясь изо всех сил, я оттащила раненого к землянке и снова поднялась наверх. В это время австрийцы, не добежав до своих резервных окопов, перешли в контр-атаку. Наши батареи открыли огонь. Все перепуталось. Снаряды попадали в своих. Люди падали, как подкошенные. Высоко взметнув руками, рядом со мной упал прапорщик Ерош. Артиллерия не умолкала. Солдаты залегли. Мы боялись шелохнуть-

ся: каждому казалось, что противник из всей массы видит только его одного. Но вот заворочались головы. Мы увидели, как далеко влево, там, где наступали севастопольцы, австрийцы удирали из своих резервных линий. Люди обратились в бегство по всему участку. Солдаты поднялись и без офицерской команды двинулись вперед. Австрийцы, бросив ружья, подняв руки, кричали: «Пан, я ваш!» — и бежали в наш тыл.

Станция Окна была взята.

Вправо от нас промчалась конница. Текинцы преследовали неприятеля. Всадники в черных папахах пригнулись к белым гривам своих лошадей. Какие-то страшно траурные, они пронеслись вперед.

Я вижу Трофима. Приклад его винтовки изукрашен кровяными узорами. Трофим сидит на корточках и наматывает остаток марлевого бинта. На коленях у него, поджав красные лапки, сидит голубь. Его перебитое, раненое крыло аккуратно забинтовано Трофимом. Спрятав бинт, Трофим гладит головку птицы указательным пальцем. Голубь дремлет.

Примостившись на огромной куче консервных пустых банок, пересматривая находящееся в австрийском ранце имущество, Саша не мог оторвать взора от фотографической карточки, с которой на него улыбаясь смотрела задорная австриячка.

*

Нас поставили в деревне Джаны.

Я иду к себе на квартиру. По дороге я встретила вольноопределяющегося. У него большой лоб, большие серые глаза, — и какие-то хорошие глаза.

— Скажите, это вы и есть Шанский? Мы с вами в один приказ попали! Помните?

— Да, это я и есть Шанский. Ну как, Зина, долго думаете пробыть в полку?

— Долго. Совсем здесь останусь. Я уже в бой ходила. Интересно.

— Интересно? — Шанский пристально на меня посмотрел и улыбнулся, но улыбка эта была уже совсем иной, и мне стало неловко.

— Вам, может быть, и интересно, вы у нас одна. Вы и не замечаете солдатских горестей, а может быть, и стараетесь их не замечать.

— Почему вы так думаете? Вы вот не видели, как я раненого неприятельского солдата тащила?

— Немца?

— Нет. Австрийца.

— Ну, все равно. Вы еще отличитесь, и вам дадут награду. О вас еще напишут в газетах, тогда вам и вовсе здесь понравится. Пустое это все, Зина. Да и по молодости лет многого вы не понимаете. Я

стою вот в той хате, приходите ко мне. Потолкуем. Идет?

— А вы меня научите ориентировочным знакам? Полевую карту вы хорошо знаете?

— Знаю. Научу вас. Приходите.

Расставшись с Шанским, я иду к своей хозяйке.

Что за новость? Откуда эти маленькие сапоги? И записка:

Зина. Я приказал сделать для вас сапоги. И для вас шьют в команде шинель. Беру на себя смелость опекать вас. Я остановился на квартире у ксендза, приходите ко мне. У нас есть земляничное варенье.

Замбор.

Несколько раз я примеряла сапоги. Хорошо в них. Хорошо пригнаны по моей ноге. Но я снимаю сапоги и отбрасываю их в угол хаты. Пройдет минута, и я снова их надеваю. Очень они ладные для похода. Мои большие сапоги натерли мне ногу и заставили меня ехать в обозе. А солдаты надо мной смеялись: «Ишь, как узнали, что ты девчонка, сразу на подводу посадили». Возьму сапоги; могу взять, а к поручику не пойду. Подумаешь, земляничное варенье. А он злой и неприятный, Замбор.

Я надела подарок Замбора и пошла гулять. Возле перевязочного пункта я оста-

новилась. У хаты на завалинке сидели раненые. Они с нетерпением ждали, когда их отправят в тыл.

— Доколе мучиться будем? Когда в лазарет представят? Тошно здесь. Последние силы выматывают. И раненому покоя нет. За что мучаемся? Тятька из дому писал, — третий месяц в город за пособием ходит, толку нет никакого. Трех братьев нас на войну угнали, а тятька старый, ему не под силу работать.

— Домой бы добраться. Керосином рану разбережу, а на фронт больше не поеду. Вот вам крест, не поеду. Кому она нужна, бойня эта? Нам, что ли?

Солдаты смотрели на меня искоса. И взгляды эти укололи меня, мне почему-то стало очень досадно; так же ведь улыбнулся и посмотрел на меня тогда Шанский.

*

Я вернулась в хату. Вошла моя хозяйка.

— Бабуся, свари мне десяток яиц.

— Та на що тобі так много? Ты малый, тебе не треба столько яиц. А злоты у тебя есть?

— Сейчас нет, я завтра отдам.

— Шукай вас на завтра. Вы еще в ночі уйдете. Ні. Це не можно. Ходи, з нами повечераешь. Да вылазь из хаты, хлопчики да дивчата хотят тебя побачить.

— Бабушка, ты сердитая.

— Не сердитая я. Ні. Али на вас на всех не настачешь. У вивторек яку гуску взяли, вон те, что в патлатых шапках. Не дам тобі. Гляди ще, яка вояка знашлась.

Мы вышли с хозяйкой на крыльцо.

— Прыська, а Прыська, дивись, якій хлопчик. А чоботы як у москаля. — Ребятишки окружили меня со всех сторон.

— Я теж пойду на войну, — улыбнулся мне черноглазый мальчик.

Я подумала: а что если бы я такого встретила в бою? Я бы не стреляла в него.

*

Хаты от лунного света кажутся еще белее, чем днем. Вон одна, как белый гриб, крытая соломой. В ней живет Шанский.

— Я пришла. Здравствуй. Не поздно?

— Добрый день, Зина. Откуда это у тебя такие сапоги?

— Вот.

Я отдала Шанскому записку Замбора.

— Земляничное варенье. Ну, что ж, это не плохо. Но ходить вам к поручику не советую. Варенья у меня нет, а вот мед имеется.

Шанский закурил и быстро зашагал. Я смотрю на полевую карту; он объясняет мне все толково и ясно.

— Ну, хватит на сегодня. Итак, говорите, вам здесь интересно?

— Да. Интересно.

— Оригинально находить интерес там, где царит смерть, где военная машина мелет человеческие тела в интересах богачей. Неужели вы не задумывались хоть раз о том, кому нужна эта война и почему здоровые, молодые немцы или австрийцы, которых косит война, стали нашими врагами? Мне-то вы, пожалуй, понятны. Вы еще молоды и по молодости многого не знаете и не понимаете. Только смотрите, чтобы не получилось так: у семи нянек дитя без глаз.

— Какие няньки?

— Бросьте вы в самом деле! Вы сами не замечаете, как с вами няньчатся офицеры. Я иногда заглядываю в офицерскую лавочку и не раз видел, как денщики покупали вам конфеты, одеколон и прочие вещи. Здесь передовая линия, и меня все это не удивляет. Вы — большая приманка.

— Я никому из них не уделяю внимания. Я не люблю офицеров, Давид Маркович.

— Почему?

— Они нехорошо шутят со мной

— Но вы берете от них подарки?

— Я не только для себя их беру.

— Вообще вы, конечно, не лишены чуткости. Но когда вы говорите, что вам на войне интересно, это нехорошо. Эта ужасная война отвратительна по своей бессмыс-

лице. Богатые, Зина, богатые заставляют людей итти на войну и этим разоряют и без того жалкие крестьянские земли. Народ гонят сюда защищать родину, царя и отечество. А что дает рабочим и крестьянам эта родина и отечество? Плеть, нужду и некультурность.

Шанский передохнул немного, лицо его стало красным, глаза гневно озирались то на окно, то на дверь.

— Скоро рабочие и крестьяне поймут всю нелепость этой бойни и поймут, где их враг. Вот тогда, Зина, тогда будет наша война, нужная и необходимая борьба. Время не останавливается, жизнь вся в движении. Вы ведь живете, Зина? Так? А жизнь — это люди. А знаете ли вы, что для того же Замбора, этого помещичьего сынка, все эти люди не больше не меньше, как оловянные солдатики. Зина, вы говорили, что вам семнадцать лет. Ну вот, если уж вы забрели сюда, то прежней вы отсюда не должны уйти. Год на войне — это д о л г и й г о д. Я, пожалуй, хотел бы взглянуть на вас через год.

От разговора с Давидом Марковичем у меня неприятно ныло на душе.

— Давид Маркович, я пойду.

— Почему? Разве я вам надоел? Вам скучно слушать меня?

— Нет, не скучно. Тяжело как-то делается. Я пойду.

*

В садах неподвижны высокие тополи. Деревня наполнена ароматом зрелых яблок. На старый плетень наклонилась ветка развесистой груши. Сладкие груши-панны усеяны осой-лакомкой. Черноокая Яня, дочка моей хозяйки, помогает матери собирать яблоки. Пятилетняя внучка Прыська носит сухие ветки в сушарню. Яня остановилась и заглядывает на деревце с одиноким яблоком.

Я вижу, как через забор перескочил офицер. Это Замбор. Он идет, размахивая стэком. Смотрит на яблоко. Бросил в него стэком. Посыпались листья. Яня подскочила к Замбору.

— Не зачипай, зачем тебе? Не бачишь, воно одно. Ну нехай собі висит. Не зачипай. Чуешь?

— Глупая, зачем тебе это яблоко? Ишь ты какая... — Замбор обхватил талию Яни. Она забилась в объятиях поручика. Красный платочек упал у нее с головы.

— Ой, боже ж мий, ой, лишенько, ой!— Яня кричит на весь сад. Бабка спешит к ней, опираясь на палку.

— Здравия желаю, ваше благородие! Поручик взглянул на меня своими стеклянно-холодными глазами. Поднял стэк и ушел. Яня, прислонившись к яблоне, тихонько плакала.

Глава пятая

Участок первого батальона считался почему-то наиболее важным. Офицеры в разговоре между собой называли его «ключом позиции». Роты занимали кладбище и мельницу, стоящую на краю села. От мельницы к кладбищу тянулась небольшая долина, по которой протекала гнилая речушка. Было в ней воды не больше, как по колено, но ее долина была непроходима. Она была ярко-зеленой, как будто ее несколько дней подряд красили маляры. И по ней тут и там пестрели цветочки. Кладбище было на суходоле. Заброшенная его часть тянулась вверх к селу, на горбок. Здесь росли нежные березы и кустарник.

Отсюда километров на десять проходили кривой линией окопы, и в ста шагах стояла мельница. У мельницы тянулась плотина, и лежал, словно полное блюдце, искусственный пруд. Беспрестанно обвисая водяными штыками, вертелось в воде колесо.

Никого не было на мельнице, и жернова, стираясь друг о друга, шли вхолостую. Не раз приходили крестьяне просить разрешения остановить колесо. Их каждый раз прогонял офицер.

С кладбища отчетливо виднелись окопы немцев. Наши две роты занимали кладбище, одна мельницу и одна стояла в резерве на опушке леса. Окопы каждый раз углубляли, — как говорил фельдфебель, «делали полный професль». Рыли ниши и для боевых припасов. Бойницы присыпали новым слоем земли. Долго просили крестьяне подполковника Кривдина разрешить подобрать скелеты... Он не разрешал им. Лишь капитан Крапивянский на участке своего батальона позволил крестьянам убрать скелеты. И поближе к деревне они вырыли большую яму. Устроили там братскую могилу для выброшенных из их последних убежищ.

По ночам начальство наряжало людей ставить рогатки и натягивать проволоку. Перед кладбищем выросло несколько рядов кольев. Рыли землю и возле мельницы, но там это делалось не с таким рвением.

Лишь долина пребывала в покое. Днем, когда пригревало солнце, над желтыми цветами вились бабочки. Да ночью на ее тропинках залегали секреты.

За последние дни немцы держались спокойно. Раньше не было ни одного дня без

немецких атак. Никто не думал о сопротивлении немцам. Только на всякий случай считали, сколько километров успеем сделать за день.

Ежедневно, с восходом солнца, в полдень и когда на фоне заходящего солнца вырисовывалась немецкая проволока, немцы посылали нам свою «почту», как говорил Саша.

Над кладбищем высоко рвалась шрапнель и свинцовой дробью хлестала по старым крестам. Две шрапнели и пять гранат были отмеренной порцией. В это время возня в окопах прекращалась. Люди прилипали к внешней стенке окопа, дежурный офицер наклонялся над перископом.

— Немчура — аккуратный народ, не прозеват, — говорил Трофим, как только первая шрапнель «белым гусем» висла над окопами.

— Бьет в точку, как сына и дочку,— шутил Саша, беспечно гуляя по окопам.

Кривдин словно черепаха высовывался из своей землянки и, прячась в нее ненадолго, снова появлялся. Не глядя в окопы, он обращал свой вопрошающий взгляд на дежурного артиллериста. По его спине он определял положение. Он быстро делал свое заключение и возвращался в землянку.

Так продолжалось семь долгих дней. Днем тревоги не замечалось. Немцы оттарабанят, и в окопах начинается прежняя

жизнь. Солдаты нашей роты с унтерами и фельдфебелем уходили на работы и ставили проволоку. Офицеры собирались у Кривдина и просиживали в блиндаже весь день. По ночам одну треть солдат заставляли дежурить. Им не разрешали ни сидеть, ни ложиться. Они беспрерывно стояли у бойниц. При малейшем шорохе Кривдин выскакивал из блиндажа и прислушивался, приложив ладонь к уху. Полевой телефон стонал всю ночь. Кривдин звонил по нескольку раз командиру резервной роты и спрашивал, не ушел ли он спать на село. Внезапность ночных атак пугала всех.

На рассвете пятого июля немцы послали первую «почту». Отсчитав две шрапнели и пять гранат, люди стали отклеиваться от внешней стенки окопа. По ходам сообщения раздатчики ведрами несли чай.

— Кипятку б хлебнуть, кишку разморить, — лениво бросил Трофим.

Жжжжж... вааааx...— раздалось из хода сообщения. Там взлетела земля. К ногам Терехина, кувыркаясь, покатилось ведро, разливая мутную воду. Раздатчику оторвало руку. За этим разрывом последовало десять, а может быть двадцать—тридцать ударов.

Перед кладбищем и плотиной возникали вспышки огня и земли. Из блиндажа Кривдина, пристегивая на ходу шашки, бежали офицеры. Лицо Кривдина потемнело, оно

сливалось с его коричневым френчем. Сутулясь, он побежал по ходу сообщения и затем прилип к одной из бойниц; широко растопырив пальцы, он упирался руками в землю; через секунду он перескочил к перископу.

— Вот бьет, без задержки, — заметил Трофим.

— За неделю вперед посылат, — добавил курносый Башмакин, вернувшийся недавно из госпиталя.

— Кожа лопнула, вот и посыпалась каша, — шутил Гусев.

— А ты поди затачай, — предложил Саше Трофим.

— Поди высунься, — может, и долезешь. Послужи, брат, миру: вишь, что поделалось с народом.

Немцы крыли, будто где-то в ряд выстроились сотни великанов и по команде хлопали большими конвертами. Снаряды рвали в клочья взрытую землю. В окопы летели щепки крестов.

— Господа офицеры, по местам. Надо ждать атаки.

Наши пушки молчали. Артиллерийский офицер возился около Кривдина и все время передавал что-то по телефону своей батарее. Германцы били без перерыва. Снаряды стали лопаться впереди кладбища, там, где находились проволочные заграждения. Там же были волчьи ямы.

Курносый Башмакин стоял у бойницы и мотал головой. Подбородок его вытянулся, и казалось, что он ввинчивается в пространство.

— Ну и рвет, ну и рвет, чисто на шматки. Прямо бреет, сукин сын, аж ни одной ниточки не осталось, — не отрываясь от бойницы, говорит Башмакин и не перестает мотать головой.

Я отодвинула Башмакина и сама стала у бойницы. Траншеи немцев казались безжизненными. Но вот через козырьки окопов вылезло несколько фигур. Они подобрались к своей проволоке, закопошились и стали снимать рогатки.

Впереди, где еще так недавно имелись наши заграждения, было свеже взрытое пространство. Кое-где лишь торчали голые колья.

Немецкие снаряды оглушительной поступью продолжали шагать по нашим окопам. Они ударяли в плотину, вздымая вороха земли. В миг что-то лопнуло, и пруд стремительно хлынул, падая шумными каскадами через плотину. Забурлила, бушуя, белая пена. Колесо мельницы перестало вращаться. Артиллерист подал команду, батареи открыли огонь. Немцы двинулись по спелому житу. Орудия били залпами, убитые и раненые германцы покрыли собою несжатое поле. Впереди бежали редкие цепочки. За ними показались небольшие

группы. К немцам спешили резервы. И новые линии, прикрывая движение новых колонок, лезли в нашу сторону. У пулеметов выросли кучи стреляных гильз. Солдаты не отрывались от бойниц, посылая наступающим пулю за пулей.

Не прекращался рев неприятельских орудий. Уже третий взвод нашей роты, оставив в окопах половину людей, перешел в резервную линию. Немцы приближались все ближе и ближе. Вдруг раздалась команда офицера:

— За бруствер, в контр-атаку! Ура!

Командир роты прапорщик Ерош, отстегнув шашку, схватил первую попавшуюся ему винтовку убитого солдата, стал взбираться по ступенькам наверх. Из соседних окопов вылезла вторая рота. Спешил на помощь прибывший резерв. По ржаному полю покатилось «ура», у немцев оборвалось «гох». Все смешалось. Немцы и наши пошли в штыки. Какой-то крупный немец набросился на нашего солдата, казавшегося ребенком перед ним. Солдат устремил глаза, полные ужаса, на кончик плоского германского штыка и, выронив винтовку, схватился за неприятельский штык. Падая с проткнутым животом, он не переставал тужиться, стараясь остановить неумолимый ход стального ножа. Грохнул снаряд. Люди заметались, бежали кто вперед, кто назад.

Вдали застыли наши и немецкие резервы.

Снова раздались пушечные залпы.

Резервы тех и других попятились к своим окопам. Медленно, шаг за шагом.

В это время замолкли и пушки.

*

Сожженная июльским пеклом, тихо журчала речушка.

Обросшая мхом водяная мельница молчала. Порывы ветра поднимали рожь. Воздух заражен трупным запахом. Люди отталкиваются от бойниц, прячут лица в расстегнутые гимнастерки. Трофим отвалил заступом лопаты пласт земли. Припал лицом к чернозему, вдыхая его аромат.

В полдень со стороны немецких окопов показалась группа людей. Они шли в нашу сторону с белым флагом. От нас высылаются два офицера. Немцу завязывают глаза белым платком, ведут к нам. С парламентером объясняется Замбор. Обе стороны договариваются убрать трупы.

Я иду возле угрюмого солдата пулеметной команды Иванова. Во ржи валяются немецкие каски. Под серым чехлом блестит черный лак германской каски на чудовищной голове. Глаза человека вышли из орбит. Коричневая набухшая кожа лопнула возле ушей. Рядом ничком до земли лежит наш солдат. Половина его че-

репа срезана осколком снаряда. Раскинувшись, лежит прапорщик Ерош. Усатый жук-дровосек пилит крышечку портсигара, валяющегося у ног прапорщика.

— Страхилаты-то какие, господи, до чего ж их разворотило,— ужасается фельдшер.

Санитары копают яму.

Угрюмый Иванов выругался на все поле и потом тихо-тихо заговорил:

— Эх, сюда бы тех, кто затеял это все. Носом бы ткнуть! Сволочи.

— Кого ругаешь?— спросила я.

— А тебе это знать надо, добровольная ты дура!

Иванов зло ухмыльнулся и отошел в сторону. Июльский полдень стал жарким и душным для меня, как никогда. Мне стало страшно. Я испугалась слов Иванова.

*

Убитых закапывают. Полковой священник усердно машет кадилом. Сладкий запах ладана, смешиваясь с трупным, действует тошнотворно. Умерших засыпали землей. Над могилами кружится мошкара.

*

Имея хоть малейшую возможность двигаться самостоятельно, раненые шли на пе-

ревязочный пункт. Пулеметчик Кириллов с трудом проходил по ходу сообщения. Недалеко от него, влево, разорвалась шрапнель.

— Поскорей бы отсюда. — Кириллов, корчась от боли, ускорил шаг. Его окровавленная шинель спадала с плеч.— Не задело бы снова, — повторил Кириллов и, то падая, то снова поднимаясь, спешил из окопов.

Новый командир полка полковник Плахов набивал трубку путающимся в пальцах длинным табаком.

— Остановить! Стой, сиволапый! Задержать! Почему прошел, задел меня и не извинился? — Полковник Плахов кольцами выпустил табачный дым. Унтер полицейской команды задержал Кириллова.

— Сиди здесь, куда спешишь? Не пускать его в тыл. Пусть отсидится.

— Ваше высокоблагородие, пустите, пустите меня, плечо горит. Пощадите, ваше...

— Ничего, успеешь.

Кириллов просил полковника, вырывался у полицейского, падал, снова поднимался, умолял отпустить поскорее отсюда. Потерял сознание. Бережно поддерживаемая им раненая рука тяжело ударилась о землю.

Вечер поглотил отдаляющийся дым трубки полковника.

Мы подняли Кириллова. Он очнулся.

— Все равно теперь. Лишь бы домой

поскорее. А там всей деревне расскажу, чтоб знали люди, за что воевать надо. Давид Маркович-то правду говорил: за землю, за свои интересы крестьянские воевать надо. Долой их, лихоедов. За что надо мной издевался?

— Раненым не погнушался, — подтвердил санитар.

— Ну, как? Сдюжаешь итти? А то мы на носилках отнесем. Вон они у меня. Давай. Зинка, подсоби малость.

— Больно мне, кость раненую скребет.

Мы понесли Кириллова.

— Здоровая ты какая стала, Зин. А приехала к нам — щуплая да хилая была. Думали — ветер дунет, упадешь, а гляди-ка теперь, — сказал санитар.

Мне стало тепло от ласковой улыбки санитара и Кириллова.

*

Шли дни. Я видела здесь много горя и мало радости. Еще недавно я старалась не всматриваться в страдания людей. Порой я задумывалась, вспоминая разговор с Шанским, но мне хотелось отогнать от себя все злое и скверное в жизни, хотелось еще пожить так, чтоб видеть только хорошее. Когда в окопе лежал в предсмертной агонии австриец, я дала ему пить и ушла к разведчикам. Там играли на гармошке, и

там было так весело. Я присоединилась к разведчикам, и мы плясали русскую. Плясали, забыв про умирающего австрийца, заброшенного к нам в окопы. А вечером, когда я осталась одна, я всячески старалась забыть образ австрийца. Наутро, когда я проснулась, мне снова вспомнился тяжело раненый. Я быстро начала одеваться. Наклонилась к сапогам,— на земле валялась клоунская маска, сделанная разведчиком. Я схватила маску и выкинула ее за траверс.

Сейчас, в эти июльские дни беспрерывных боев, не было улыбки. Все чаще и чаще мы встречались с Шанским, Сашей, и там бывал Иванов. Он угрюмо поглядывал на меня во время походов, дважды встретился со мной плечом к плечу в бою. А вчера сказал:

— Может, ты и права, если свое докажешь, что девка, мол, тоже воевать может.

— А разве это не так, Иванов?

— Если потребуется, то моя Настя оставит завод и тоже пойдет. Поняла?

Но я не поняла, почему так строго и гневно прозвучали его последние слова. Каждый раз при встрече с Ивановым я сердилась на себя,— почему я говорю с ним не так, как с другими солдатами, а каким-то заискивающим тоном. Может быть, потому, что я добивалась его доверия? Мне хотелось, чтобы он считал меня

равной себе. Но ни отвагой в бою, ни терпеливым сидением в окопах, ни выносливостью в переходе я не могла вызвать у него доверия.

Эх ты, жисть-прожисть горемычная!
Пойти куда? Кому жалиться?
Кто поверит нам, доброй душенькой
Откликаючись...—

заунывно тянет свою песню Трофим.

— Садись, Саш, на пенек, обождем Зину-то. У меня к ней просьба есть: письмо в Липки хочу отписать.

Я выхожу из стодолы.

— Пошли, Зина, в хату, письмо домой напиши.

— Пошли. Пойдем и ты, Гусев.

Саша отогнул рядно на моей постели, чтобы не запачкать пыльными сапогами, и лег. Трофим сел в углу под иконостасом, украшенным бумажными цветами. Облепив печку, группами грелись тараканы. Стрекотал назойливый сверчок-невидимка. Склонив голову над не покрытым скатертью столом, остро отточенным карандашиком Трофим выковыривал въевшуюся грязь из щелей стола.

— Ну, думай, Трофим, буду писать.

Вначале я перечислила поклоны к его родным и изредка спрашивала Трофима, кому еще кланяться.

— Ну, теперь пиши про самый серьез.

Однородная моя Клавдия Касьяновна.

Душа моя тоскою изошла, прописанные в письмеце твоем жалобы на недород жита острой бритвою сердце мое полыхнули. Оборвалось у меня в груди чего-то, голова — как чугунная. Аппетита до еды не стало. Беда тебе с Машуткой и Васькой. Любезная Клавдия Касьяновна, пропишу тебе про свой сон: будто спал я на полатях в своей избе, а паучище огромадный, до моего носа спускамшись, кровяную выблевывал паутину да всего опутал меня красной ниткой. Теснота во всем теле приключилась, не знать, как проснулся, только страх меня обуял, — креститься почал. Не к добру, Клавдюшка, сон такой.

На этих строчках Трофим замолчал, углубился в свои думы. Поставив точку, я чертила карандашом круг за кругом. Саша храпел. Где-то за печкой стрекотал неугомонный сверчок. По улице, прогалопировав на своем сером коне, штаб-горнист Лукьянченко играл сбор.

Глава шестая

Пыля на Синуху, ушел авангард. Полк ожидал его отдаления. Батальоны устроили привал на окраине села. Роты разбили свой строй. Солдаты не ставили ружья в козлы. Каждый держал винтовку в руках. Огромное горячее солнце спускалось к горизонту на тормозах. Его косые лучи лезли под кожу. Они расплавляли нутро.

Трофим сидел под тыном и снимал сапоги. Саша, подымаясь на корточках, лез из себя. Он старался наткнуть на штык зрелое яблоко. Деревя помещичьего сада были густо усеяны фруктами.

— Смотри, — бросил Трофим, — не попори ему пузо. Как бы барин не потянул за потраву.

— Барин... Велико теперь дело, к мировому далеко, нас, так сказать, немец рассудит, — ответил Саша, обтирая с винтовки яблочный сок.

Терехин, просушив портянки, натянул сапоги.

— Водички б испить,— ссохшимися губами сказал Трофим и стал обводить зрачками все закоулки околицы. Вместе со зрачками неотступно бегал обтянутый паутиной красных ниточек воспаленный белок.

На околице стоял помещичий дом. Ленивым шагом пошел он туда. За ним двинулось несколько человек. Всем им хотелось пить. Долго стояли они у ворот, не решаясь войти. Гусев отделился от группы и вошел во двор. Через минуту показался работник с водой. Он не выпускал ведра из своих рук, поочередно поднося ведро к спекшимся губам солдат.

— Становись! — крикнул фельдфебель-«рашпиль». Вытираясь на ходу рукавами, солдаты ринулись в строй.

Вдали над авангардом повисли пыльные простыни, они были ярко окрашены лучами заката. Авангард растянулся по выбитой дороге, поднимая к небу тучи пыли.

На последний свой порох грело солнце. Вместе с тем казалось, что оно растворилось в воздухе. Воздух становился все более горячим и тяжелым. Стало невыносимо трудно дышать. Вяло передвигались роты.

— Песельники, вперед! — покатилось с головы батальона.

Песенники, обгоняя ряды, лениво пробирались вперед.

Терехин не пел, хотя и любил слушать солдатские песни.

— Хороша песня — нутро зажигат, — говаривал он.

Теперь Терехин был недоволен. Когда песенники затянули «Горные вершины, я вас вижу вновь», он вполголоса бросил соседу:

— Ишь, черти, в таку жару заставляют людей песни играть.

— Молчи, Трофим, а то кабы у тебя душа не заиграла,— посмеиваясь остановил его Саша.

...Горные вершины, я вас вижу вновь...—

надрывали свои голоса запевалы. Солдаты подхватили:

...карпатские долины, кладбища удальцов...

Обрывалась песня на пересохших губах. Капитан Крапивянский подхлеснул свою рябую «Грациану» и потрусил вперед. Песенников отослали в ряды.

Через полчаса устроили малый привал.

— Вольно, оправиться,— привычно бросил ротный.

Походы уже не сбивали меня с ног. Я все больше и больше втягивалась в походную жизнь и была довольна своей закалкой. На меня уже смотрели, как на равного спутника.

— Ничего, не плохо вычистила винтовку. Немножко затвор надо протереть.

Иванов поставил на место мою винтовку и взглянул на меня добрыми глазами, казавшимися порой такими угрюмыми. Он ведь всегда смотрел исподлобья.

Через полчаса мы двинулись дальше. Не то ли похвала Иванова или небольшой отдых, но я бодро зашагала вперед.

Вправо от дороги появился редкий кустарник. По мере продвижения он стал учащаться. За ним вырос лиственный лес. Под навесами кленов ютилась дорога.

Впереди у крутого поворота из-за густой листвы в небе вырос огромный, тягучий язык. Ежесекундно росла вылезшая туча, как будто там, за лесом, ее накачивал огромный насос.

Не прошло и десяти минут, как все задернулось. Еще миг, и небосклон стал непроницаемым. Внизу потемнело. В немой тишине жались друг к другу испуганные деревья. По верхушкам леса, словно в мягких туфлях, ходил ветерок.

Как в бане, стало душно в рядах.

Люди без разрешения расстегивали гимнастерки.

— Быть грозе, — тихо промолвил Трофим.

При одном слове «гроза» меня бросило в холод. Я перестала ощущать невыносимую жару. Вспомнился дом. Там спа-

сением от грозы служила кровать. Но здесь нельзя было закрыть ни дверей, ни окон. Здесь не было ни одной подушки, куда можно было бы зарыться с головой.

От страха у меня в голове сверкали молнии и с грохотом катились чугунные бочки. Я жалась к Терехину, а Гусева взяла за рукав.

Вспыхнуло за лесом и вмиг погасло пламя костра. Забелел лес в небывалом сиянии. Серебром блестели стволы деревьев.

Не успел погаснуть чудеснейший фейерверк, как где-то вблизи грохнул о землю гигант-небоскреб. Точно бесконечные этажи, громы нагоняли друг друга и со страшным треском уходили в недра земли.

На один миг полк словно повис в воздухе. За первым грохотом где-то вдали глухими перекатами зашумели отдельные кирпичи и кирпичики.

— Господи, Сусе Христе, спаси и помилуй нас грешных.— Терехин часто замахал перед своим почерневшим лицом.

Я невольно крикнула «ой» и прижалась к раскисшему Сашке. Лица солдат собрались в кулак к самому носу. Удлинились носы. Даже у курносого Башмакина нос получил какую-то видимость. У всех стали маленькие лица и большие глаза. От разрядки могучего тока воздух стал легче, и легче дышалось.

Тихо урчало за горизонтом. Урчание

близилось и нарастало. Звуки усиливались. Люди ждали удара.

Невидимый ятаган разбойничьим махом распорол небеса. Ослепительная ртуть залила огромный разрез. На один миг ослепили глаза.

Я боялась раскрыть веки. Ждала удара. Удар раздался в самом лесу.

Стало светло на дороге, как при вспышке магния. Батальон шарахнулся от леса. Строй стал разбиваться. Роты перепутались.

Ряды двигались в беспорядке. Меня потянуло вперед. Если б куда-нибудь спрятаться. Казалось, что лучше огонь тысячи орудий, чем еще один удар этой ужасной грозы.

Я очутилась в голове батальона. Подполковник Кривдин был бледен, как луна. Вне обыкновения он передвигался пешком. Своему ординарцу с конем он велел итти в голове батальона.

Кривдин обернулся. От зрелища беспорядка в рядах его покоробило.

— Черти!.. — Не успел крикнуть Кривдин, как новый удар заглушил его крик.

Над штыком солдата Ерохина вырос бесконечный, потянувшийся в небо огненный штык. Единым тяжелым охом вздохнула вся первая рота.

Кривдин запнулся на слове. Дрожащей рукой он закрестился. Отвернувшись от фронта, он вытянул ладонку. Синими гу-

бами он стал слюнить ее пропотевшую ткань.

Черный, как порох, лежал на земле Ерохин. Черная рука впилась в винтовку. Штык изогнулся крючком. На расстегнутой груди Ерохина лежал крест.

— В землю б его закопать,— отойдет мужик.

Фельдфебель первой роты робким шагом подошел к Кривдину.

— Вашескородь, дозвольте взять винтовки до земли.

Кривдин уже успел опомниться.

— Что за бестолковщина спрашивать. Самому надо знать.

За лесом раздался оглушительный взрыв. Две-три капли дождя упали с неба. Следом за ними дождь полил неудержимой волной.

Небо распоролось. Через все прорехи вниз устремились потоки воды.

Как цыпленок ежась, я снова очутилась рядом с Терехиным. Трофим втянул голову в плечи. Его губы беспрестанно шептали. Он весь как бы отсутствовал. Мне хотелось с ним говорить. Но было ясно, что он меня не услышит.

Солдаты продолжали шлепать вразброд. Я беспрепятственно продвинулась к Саше.

— Саша, что ж это будет?

— Ишь, как голос-то у тебя размяк. Все уже было. Хужему не бывать. Илья

пророк с финтифлюшками на лихаче прокатился. А форменно стерва бьет. Какие зигзаги пускает, видела? Поддает форсу бабам Илья. А нашему Ерохину от этого форсу каюк.

Мне хотелось говорить, отвлечься, но дождь шел с такой силой, что казалось, будто размокли не только ноги, но и язык. Трудно было им шевелить.

Ноги скользили, оставляя по дороге длинные полосы. Спустя полчаса сапоги стали обвисать комьями грязи.

Лошадь Кривдина впереди батальона тащила на себе его сухое, как мумия, тело. Шлепая по вязкой похлебке, она обдавала головные ряды грязью. Кутаясь в резиновый плащ, мурлыкал полковник.

Люди сильно промокли. Я сидела, словно в бочке воды. Струйки дождя попадали за воротник и катились по дрожащему телу. Ткань набухала и липла к телу и ногам. Холодными гусеницами вода поползла по ногам, в сапоги. Вскоре в них образовалось вещество липкое, как вазелин.

В рядах слышались голоса:

— Шинеля б раскатать.

Другие голоса подхватили:

— Шинеля, шинеля,— раздалось по всему батальону.

Офицеры молчали, словно мертвые. Капитан Крапивянский продвинулся к Кривдину:

— Шинеля следует раскатать. Люди промокли.

— Не разрешаю,— отрезал Кривдин,— на ночлеге нечем будет укрыться.

— Высушат.

— Не разрешаю.

Сопровождаемые неотступным дождем, ряды ползли вперед. Стемнело. Солдаты разговаривали, и даже кое-где вспыхивали огоньки козьих ножек. Начальство сделалось слепым и глухим.

Терехин шел молча, задумавшись. А быть может, он спал. Голова его болталась как привязная. Вдруг он поскользнулся и вмиг выпрямился. Последовал вопль впереди идущего солдата. Его соседи закричали:

— Носилки! Носилки!

Солдат получил штыковую рану в бедро. Терехинский штык пропорол солдата.

К Терехину подбежал фельдфебель.

— Баран, куда твои бараньи банки глядели? — С этими словами он замахнулся своей жирной рукой.

Вдали послышался отдаленный грохот, похожий на столкновение двух поездов. На секунду матовым светом ослепились мокрое небо и горизонт. Фельдфебель разжал занесенный кулак и стал степенно креститься.

— Баран бараном и есть, — бросил он и этим разрядил свою злость.

Ротам было приказано взять винтовки по-обычному. Над батальоном выросли штыки.

В темноте, на фоне обмытого неба вырисовывались, как вырезанные из бумаги, контуры села. Там с визгом лаяли десятки собак. Собачий концерт сопровождал приход авангарда. Грудь раскрылась. Ноги пошли легче. В воздухе стоял едва уловимый запах вкусных щей.

Ряды сами по себе уплотнились. Сосед лип к соседу. Нога применялась к ноге. В вязкой грязи появились отзвуки четырехтактного шага. В деревню входили части полка.

Офицеры подтянулись, подполковник Кривдин гремел.

Без вызова в третьей роте затянули «Чубарики, чубчики»...

Полковые кухни стояли на церковной площади. Около них возились повара. Над огромным корытом люди чистили горы картошки. От кухонь в небо вился штопором дым.

Тут же, на площади, на общественных дубках солдаты ждали ужина. Гармонист выводил «барыню». Кто-то колотил ложкой по солдатскому бачку. Сменяя друг друга, люди пускались в пляс.

*

Три батальона ставропольцев сменили 76-й Кубанский полк, ушедший в деревню на отдых. Четвертый батальон ставрополь-

цев находился в резерве, в деревне Синуха. Пятая рота, в которую я была послана для связи, подковой огибала замок графа Богуша. Изрешеченный пулями белый дом с колоннами бдительно охранялся дряхлым лакеем графа.

Я решила осмотреть покои графа, о которых так много говорили.

Сумерки. Я брожу по бесконечным антресолям замка. Вот в этой комнате до прихода русских стоял австрийский штаб. В большом зале посредине стоит стол, на нем обрывки бумаг, стружки карандашей, обломанные куски сургуча. Пропитанная пылью зеленая скатерть закапана стеарином, разлитые чернила размазаны «чортиками». В обоих концах стола поставлены высокие кресла с резными спинками. Стулья отодвинуты в беспорядке. Колонны зала увиты гирляндами давно увядших цветов. У овального окна к выходу в голубую комнату поставлен рояль. Крышка рояля приоткрыта. Из-под обломков штукатурки виднеются струны рояля.

На обложке упавших нот напечатана голова женщины в черном кивере. Я открыла ноты, с трудом разобрала строчки:

З напикнейших вар-шавянок
Сформуем мы полк уланок.
Раз, два, тши... раз, два, тши...

Будуар графской внучки обит тонким нежно-розовым шелком. Под моими ногами захрустели разбитые стекла. На туалетном столике, покрытом голубым тюлем, опрокинуты духи. Розовые банты, прикрепленные по бокам столика, засыпаны пудрой. Пуховка и пудреница брошены на пол. С окон спадает оборванный шелк занавесей. Камин наполнен грудой обуглившихся конвертов.

Чуть приоткрыт полог кровати, и...

там сидела кукла в розовом капоре, в пальто из розового плюша, а в ее черные локоны воткнут миниатюрный бутон розы. Надменны пухлые губы куклы, а черные глаза, как агаты. «Будешь со мной, я тебя возьму и отнесу в окопы»... И, все-таки не решаясь ее взять, я подбадриваю себя пришедшим в голову мотивом: «раз, два, тши», хватаю куклу и выбегаю с ней из будуара.

Теперь надо поскорее выбраться из замка. Потом посмотрю остальное.

Скорее! Уже надвигается вечер.

Я прошла зал, очутилась в длинном коридоре. Сейчас направо. Нет. Не сюда. Вот здесь. Толкаю дверь. Там небольшой коридорчик. Иду налево. У выхода на веранду мне преграждают путь деревянные ящики, полные бутылок. Нет, я тут не проходила. Следует повернуть обратно. Где же выход? Темнеет, и позже я уже

ничего не разберу в этих бесконечных коридорах. Ведь дверь к выходу в парк была именно здесь. Неужели я ошиблась? Я все перепутала. Иду в полутьме. Пустяки. Нечего бояться. Но... в замке тихо и страшно. Я чувствую усталость, словно я прошла несколько километров.

Откуда винтовая лестница? Это, наверное, выход в мезонин. Решила посидеть, успокоиться и припомнить выход. Из розовой комнаты я могла выйти через окно, зачем я пошла сюда? В темноте шарю по стенке.

Скрипнула дверь. По ступенькам лестницы я слышу шаги шлепающих туфель. Прижимаю куклу. Скрипя открылась маленькая дверца. Горящие свечи канделябра освещали старика в черном фраке.

— Матка бозка, Езус Христос, — забавка паненки Зоси в ренках жолнера.

Затряслись руки старика. Погасли свечи выпавшего из рук канделябра. Звон фарфора... Кукла разбилась. Глухо и мертво отозвалось эхо в замке.

Как шальная, я бросилась бежать к освещенному луной выходу в зал. Ноги старика шаркали вслед. Я остановилась в зале у окна, перевела дыхание.

Монументом стоял старик в огромном зале. Бакенбарды графского лакея серебрились при лунном свете.

Выпрыгнув из окна, я очутилась на ве-

ранде. Я обрадовалась. Да. Я обрадовалась вою разорвавшегося снаряда. Ведь тут сейчас, через несколько минут, я увижу людей, я буду среди живых людей. Услышу их голоса. Скорее!

Я положила горячие ладони на белый мрамор, вытянулась и перепрыгнула через перила в парк.

*

Мы пекли в золе картошку. Денщик Кривдина рассказывал нам о своем командире:

— Кривдин-то мой, как покладутся спать, завсегда кричит: «Осип, где мои полковничьи погоны?» Дам ему золотые погончики, а он их покладет под подушку и завалится спать. Утром кричит мне: «Осип, я полковник?»—«Так точно, говорю, подполковник». А они тогда как закричат на меня: «Не подполковник я, сукин сын, а полковник!» Это, значит, они себя во сне увидели в следующих чинах, а на другой день опять: «Осип, где мои погоны?» И так каждый вечер. Надоел досмерти, пущай бы уж взаправду нацепили ему эти погоны высших чинов, успокоились бы они.

Денщик закончил свой рассказ, передохнул и снова заговорил:

— А про подземный-то ход слышали?

В полку распространились слухи о какой-то минной галлерее, таинственно шептали о подземном ходе под замком графа, ведущем якобы к австрийцам. Во время обыска вместо предполагаемых приспособлений для сигнализации, будто бы хранимых старым лакеем, офицеры натолкнулись на боченок с наливкой. Распив напиток, офицеры высунулись в окошко, пролезли через него на крышу, долго спорили, размахивая руками. Замок находился под бдительным наблюдением австрийских артиллеристов. Дебош офицеров не ускользнул от их зорких глаз. Батарейная очередь гранатой заставила командиров кубарем скатиться с крыши.

Вернувшись в окопы, офицеры, перебивая друг друга, рассказывали Кривдину о том, как они, рискуя жизнью, нашли запрятанные лакеем ракеты, которыми он, по их уверению, сигнализировал австрийцам. Кривдин, ударяя себя ладонями по коленям, возмущался: «Каналья, пся прев, каналья».

*

Гул и невыносимый грохот стояли вокруг. Наконец граната сменилась шрапнелью, и ее жужжание было передышкой для всех. К вечеру, охнув последним залпом, замолкли пушки.

— На, отнеси в штаб полка. Конверт принесешь обратно. Аллюр два креста.

Поручения я всегда выполняла точно, и мне нравилось, что меня посылают с донесениями так же, как всех связистов. Но такие поручения мне давал только капитан Крапивянский. И вдруг донесение от Кривдина. Только мне не понравилось, почему он так странно ухмыльнулся.

Чтобы пройти в штаб полка, надо выйти из хода сообщения, миновать темный графский парк. Не раз я вспоминала вихрастого мальчишку в Бродах; ведь он тогда мне говорил: «Ты девочка, и тебя на войну не пустят», — а вот я теперь шагаю как солдат, ношу донесения и умею стрелять.

Темная, беззвездная ночь. На расстоянии пяти шагов ничего не видно. Редкие ружейные выстрелы. Тихо. Я вошла в сосновую аллею. Она глухо шумела черными ветвями. Мрачный и суровый стоял ночной парк. А вот начинается аллея лип. Они недавно отцвели. Но ночь еще дышит их пряным ароматом.

— Кто это? — Я слышу чьи-то шаги. Торопливо и быстро они надвигаются на меня.

— Я долго вас ждал, Зиночка. Зина, послушайте меня.

Поручик Замбор.

Еще темнее показалась мне ночь.

— Зина, я прошу вас, девочка...

Поручик схватил и прижал меня к себе.

— Оставьте, как вы смеете?

Замбор неожиданным и сильным рывком выбил у меня из рук винтовку.

— Я все для вас сделаю, Зина. Хотите, я подарю вам своего «Маркиза»? Я...

Резким движением я толкнула Замбора в грудь.

— Не отпущу тебя, не отпущу... Слышишь...

Он запрокинул мою голову и закрыл рот ладонью. Слышу, рядом кто-то кашлянул.

— Иди сюда, Петр. Держи ее. По уговору и твое не пропадет.

— Вашблагородь, вашблагородь...

Близко, совсем близко я слышу знакомый голос. Так вот как! Неужели он мог?..

Из сотни голосов я узнала бы этот угрюмый голос солдата Иванова. Иванов, к которому у меня было такое уважение, солдат, похвала которого вселяла в меня столько силы и бодрости. Пулеметчик Иванов, которого я называла на «вы», потому что хотела ему показать этим обращением какое-то глубокое уважение к нему.

— Давай, давай, тащи ее сюда. Говорю, и твое не пропадет.

— Иванов, как ты смеешь? И ты с ним заодно? — Впервые я ему сказала «ты».—Помогите!..—кричу сильнее. Я слышу над собой запах спирта и пряный

аромат поручика, — такой, как там, в аллее лип. Замбор шепчет что-то неясное. И вдруг на меня дохнуло махоркой, чья-то сильная рука отдернула поручика.

— Мерзавец... Обманул... Арестую. Отказываешься? И мне помешал. Сволочь. Под арест! Хамское отродье.

— На ее защиту и пошел с вами. Не на такого нарвались, вашблагородь... Давай руку, Зина. Идем.

Он повел меня за руку...

Иванов.

Я шла с ним вместе по ночному парку. Кровь приливала к лицу, но Иванов не видел этой краски стыда, благодарности и моей непоправимой вины перед ним.

Ничем, ни одним словом или поступком пулеметчик Иванов не мог вызвать у меня такого сомнения, а я заподозрела его в гнусном поступке поручика.

*

В штабе полка дежурный офицер прочел донесение Кривдина и громко рассмеялся: «Сирена гудит, собаки воют, лакей шпионит, пятая рота готовится к наступлению». Офицер прочел донесение еще раз и подошел к телефону. Он рассмеялся в трубку, затем со смешком разрешил мне уходить.

Недалеко от штаба меня ждал Иванов. Я рассказала ему про донесение.

— Ты была нарочно послана. Поняла? Берегись, Зина, офицерья.

*

Прошло много дней. Замбор не арестовал Иванова. Офицеры смотрели на меня и посмеивались. Замбор ходил перед офицерами довольный и при моем появлении лихо насвистывал. Офицеры громко смеялись.

И только я да солдат Иванов знали правду о неудавшейся затее поручика.

*

Двенадцать пеших разведчиков откомандированы в конную команду разведчиков. Меня тоже перевели туда вместе с Сашей. Мы стояли в фольварке Угра, в пяти километрах от замка. Мне дали гнедую кобылу с белой проточиной на лбу. В конюшне рядом с ней стояла Сашкина лошадь «Черемуха», вороной масти, а ноги от колена белые. Недалеко жевал сено конь «Пантелейко».

— Ты, дурний, Запорожец, перемени сено своему «Пантелейке». Мокрецы у него поробляться.

— Ну на що мені дали таку коняку: ноги у меня по земле волочаться, як сяду на нее. Сміх з неі.

— Да тобі яку коняку ни дай, все маленька будет.

— Верблюда ему надо,— заметил Саша.

— Знаю про верблюда. Не ты один их бачил. На Дон я с батькой ездил, видал таку штуку.

— Да, на Черешенков стан коняку-то не подберешь,— улыбнулся Запорожец.

Разведчики ушли. Я осталась одна. Моя лошадь повернула ко мне свою бархатную морду и заржала. Я угостила ее сахаром. Я не знала, как ей выразить свою радость,— так давно хотелось иметь коня. Я завязала «Гному» хвост узлом и улеглась возле лошади, свернувшись ежиком.

— По коням!..— раздалась команда подпоручика Никольского, начальника конной команды разведчиков. За круглую фигуру, яркий румянец на щеках и вздернутый нос весельчака Никольского солдаты прозвали Акулькой. Студент Никольский недавно окончил школу прапорщиков, был ранен, и теперь его произвели в подпоручики, а он все еще носил одну звездочку.

Протяжение «шагом марш», и разведчики двинулись.

... Лети же, верный мой товарищ...—

затянул тенор Никольского и тут же оборвался, словно подпоручик только что вспомнил, что он на войне.

— Опередим наш авангард, и айда. Это

тебе не брюхом ползти, а, так сказать, на коне, дело-то подходящее. Терехина бы повидать. Скучно стало за человеком. Привычка — она заковычка. Трофим мужик хороший, ничего не скажешь.

Три километра мы прошли шагом, потом Акулька повернул разведчиков к парку Богуша. Вскоре нам повстречался Замбор на своем «Маркизе» и с ним три ординарца. Они громко пели, голоса их были пьяны.

Звеня стременами, мы въехали в рощу, за парк Богуша.

— Повод влево... — скомандовал Никольский. Лошади шарахнулись в сторону.

Под старым дубом раскачивалась темная фигура повешенного человека с поникшей головой, и по ней, освещенные луной, кружились тени листьев, неотступно, как мотыльки. Я узнала графского лакея. Ветер трепал его седину.

Повод выпал из моих рук. Я зарылась в гриву лошади. Стремительным прыжком лошадь прыгнула вперед.

— Висит шпион и нехай висит,— сказал кто-то.

— За что погиб человек?—сказал Саша.

Далеко за парком и рощей слышалась пьяная песня Замбора.

*

Заря румянцем легла на деревню. Тихо и пусто. Только вдали на дороге купалась

в пыли курица, да скрипел колодезь-журавель.

— Если что случится, держись крепче в седле, Зина, и за мной айда.

— Да нас ведь много. Чего случится?

— Это чепуха, так сказать, что много. У австрийцев кони из Венгры,— быстрый ход имеют.

Взмахивая руками, на дорогу выбежала крестьянка. Саша подскочил к ней.

— Чего хочешь, говори.

— Майте жалiсть, дочку мою ранило, кровью истекает в хате. Ой, боже ж мий. Ой, лишенько... Поратуйте, москалики...

Гусев оторвал свой индивидуальный пакетик от шашки и бросил мне:

— На, Зина, сбегай в хату. Ежели что неладно, я свистеть буду.

В хате на полу на соломе лежала девочка. Кровь лилась из ее раненой руки; лицо прозрачное, ни кровинки.

— Ма-м... ма-ма...— зовет дочка. Ее тонкие русые косички забрызганы кровью.

— Звидкеля ты взялся такой маленький хлопчик? Дитятко, тай теж в москалях,— говорит женщина, рассматривая меня.

Я туго перевязала руку девочки выше локтя. Кровь приостановилась. Я положила на подушку голову раненой. Она уставилась на меня, ее рот приоткрылся. Тихо хныкая, она смеялась.

— Ой, голубонька моя Ксана. Ксанка... Дивись, який хлопчик. З него, мабудь, смеешься? Полегчало тобі, серденько мое, Ксана...

Девочка повернула голову, потянулась к матери и застонала.

На расшитый в мелкие крестики передник Ксанки падали крупные бабьи слезы.

*

Большие потери понесены 73-м Крымским и 76-м Кубанским полками. По дороге шли повозки, на них увозили раненых в тыл. За повозками, опираясь друг на друга, передвигались раненые. В нашем полку сильно пострадал второй батальон.

— Зина, скажи ребятам... Шанского убило. Скажи Гусеву. И передай ему вот этот сверток. Тут бумаги какие-то. Его, Шанского, бумаги.

Давида Марковича убило снарядом. Больше я не расспрашивала солдата. Рядом всхлипывал разведчик:

— Жалко, Давидку убило. Всего, говорят, разорвало гранатой.

Недавно, еще совсем недавно мы разговаривали с Шанским, он стоял близко возле меня, и сейчас он убит. Его смерть словно коснулась меня самой, стало страшно, но внезапный страх прошел, я почувствовала себя вдруг старше. Что-то толка-

ло меня к действию, я утешала бородатого разведчика, увидела Сашу и крепко сжала ему руку.

— Убит, значит. — Саша смотрел в одну точку и долго так стоял. Потом резко поднял голову и пошел к разведчикам.

Я осталась одна.

По ночной, темной дороге тарахтели подводы, увозя раненых в тыл.

*

Климыч получил из дому письмо и нераспечатанное дал мне.

— Чего пишут-то? Прочитай, Зин.

— Садись, буду читать.

«Тебе, дорожайший наш Василий Климыч, шлем наше нижайшее. Три месяца, как я из госпиталя выписался. Теперь на костылях хожу. По чистой уволили. Землицу в нашей округе после спожинок урезали и подати начали собирать для нашей бедности непосильные. У Михайлы Курикова под спаса рябую кобылицу его со двора увели за недоплату податей. Баба его с Аксюткой-годовалкою как стояла середь двора и так упала с дитятком до земли и низкие поклоны бить урядику почала. И дитятки того не жалеючи, пхнул он бабу ту, Михайлы Курикова, по грудях ее молочных. А вечером Синебрюхова Иннокентия, нашего лавочника, приказчик

две четверти водки в волость потащил. А поповская Прасковья толстозадая, перед урядником покрутившись, жареную индюшку на стол поставила. Эх, браток, невдомек мне, зачем войну ведете? Крестом тебе до сырой земли крещусь, издевку правят над нами верховоды проклятые, кому война эта нужна, воевать за добро помещичье. Дальше так невтерпеж. К тебе, дорогой братец, с почтением с тобой в близких родствах состоящий Кузьма, Клима Гаврилова сына».

Климыч взял письмо и спрятал конверт под подкладку своей фуражки.

— Климыч, а кто тебе письмо привез?

— Земляк вернулся в окопы. Идем, вон наши собрались.

Около церковной ограды сгрудились конные. Увидев меня, Акулька замахал рукой:

— Гусев, Зинаида,— ко мне.

По сведениям, полученным у пленного, австрийцы окапываются в двух километрах за деревней Симки. Разведчики были посланы на батарею и в штаб полка.

Я дала шпоры коню. Вслед раздался голос Никольского: «Короче, короче». Я перевела «Гнома» на рысь и так выехала из деревни.

За деревней начинался лес-молодняк. Вправо от дороги шумела залитая осенним золотом роща. Словно накрахмаленные

причудливые кружева зашуршали листья клена. В лесу пахло прелой землей и грибами. Низко пролетела стая гусей. Совсем недалеко хлопнула шрапнель. Лошадь съежилась, присела и понеслась, как угорелая. Ветки стегали по лицу, нанося сильную боль. Снова надвигалось шипение снаряда. Разрыв был в нескольких шагах от меня. Дребезжа ударился о дерево осколок, и я увидела разлетавшиеся куски молодой березы. Скорее бы выбраться отсюда. По батарее бьют все чаще и чаще. Наконец огонь перешел влево, я одернула «Гнома» и поехала шагом. Вдруг «Гном» настораживается и тревожно водит ушами.

— Гном, свинья ты такая, не пугай меня, и так страшно.

Проехав немного, я увидела за кустами дымок.

— Гном, перестань водить ушами. Вот еще немного, и мы приедем с тобой в штаб. А может быть, объехать дымок? Довольно трусить! Тоже еще! Гусев, наверное бы, не испугался.

Листья орешника раздвинулись, и оттуда, медленно высовываясь, показался австриец. Совсем молодой. Сердце мое, казалось, перестало жить.

— День добрый.

Мне сразу почему-то вспомнилось, как когда-то дома я поздно возвращалась и встретила пьяного. Несмотря на испут, я

храбро сама подошла к нему и вежливо-вежливо спросила: «Скажите, пожалуйста, который час»,— я как бы хотела задобрить пьяного. Он был удивлен такой вежливостью и тоже деликатно ответил: «Пожалуйте вот сюда, а потом туда, и там есть часы». И сейчас я обратилась к австрийцу очень вежливо:

— Вы хотите сдаться?

Австриец улыбнулся молодой, задорной улыбкой.

— Да. Я больше не буду воевать впустую. Возьмите.

Он протянул мне чистенький карабин, затем отстегнул фляжку.

— Возьмите. Здесь есть ром.

Я отказываюсь от рома, но крепко держу карабин. Австрийцу кажется странной моя вежливость, и он спрашивает меня: «Не кадет ли вы?» Я рассмеялась и отрицательно покачала головой. Он пристально всматривается в мои руки, смотрит на меня и затем, подскочив ко мне, кричит:

— Паненка? Паненка? Так? А я из Кракова. Я на заводе работал. Я молодой слесарь есть.

Пропустив пленного вперед на тропинку, я двигаюсь дальше. Приходится сдерживать лошадь, пленный поминутно оглядывается на меня. Он идет медленно, устало волоча большие, тяжелые ботинки, обутые на тонкие ноги.

— Знаете, что я вам скажу: залезайте сюда, на седло. Садитесь. Мы поедем вместе.

— Я? Я? — австриец тычет себя пальцем в грудь. — Я садиться? Это очень хорошо есть. Садиться.

— Да. Давайте только скорее.

Мы едем вместе. Молча. Каждый с своими мыслями. Со своим раздумьем.

Прибыв на хутор, я объясняю все солдатам. Кругом меня смеются. Пленного уводят. Мне жаль с ним расставаться. Он похож на Сашу. У него такие же синие глаза. Я вспоминаю Шанского: «В своего ж брата стреляем».

Я отпустила подпруги «Гному», попросила кого-то сделать проводку, побежала к штабу полка. Пленный нехотя отвечал на задаваемые ему вопросы. Он очень устал. Его отпустили. Конвоир зашагал сзади него. Увидев меня, австриец направился ко мне навстречу, но полицейский одернул его.

— Вот возьмите это. Тут хлеб и пирог с горохом. Махорки дать?

Пленный быстро спрятал хлеб и пирог.

— Махорка? Нет. Это есть. Такие есть. Вам нужно?

Пленный предложил мне сигары.

— Было очень много. Господин поручик там есть... В вашем штабе все взяли. И кроны тоже.

Мне хотелось разговаривать с австрий-

цем, показать его Гусеву, но пленного увели, а Саша вернулся лишь поздно ночью. Я не спала.

— Слесарь, говоришь? Рабочий из Кракова?

*

Полк стал на позицию. После перехода моя лошадь захромала, я поставила ее в околоток и ушла в окопы. Климыч помогал мне чистить селедку.

— Ну, скажи ты, Зин, чего ты домой не едешь? Всяко горе с нами мыкаешь. Что за охота тебе? И в голову не придет. Хотя и привыкла ты до нашей жизни солдатской, а все ж зря здесь сидишь, прямо чудно делается.

— А первое время смотрел я на нее — думал: скиснет в первый же, так сказать, поход. Нет, ничего, гляжу — держится.

— Саша, а пулемет покажешь? Научи меня из пулемета стрелять.

— Вот станем на отдых, научу.

Не один раз солдаты задавали мне вопрос: почему я здесь? Я знала, что каждый из них ушел бы отсюда, убежал, а я оставалась. Я уже не могла уйти. Я привыкла к людям. Тяжело было расстаться с ними. Я узнала здесь новых людей и поняла иную жизнь. Иногда меня тянуло домой, хотелось им все рассказать.

Там, дома, однажды к нам в кухню к

няньке пришел дворник. Я слышала, как он плакал и рассказывал о своем горе.

— Алексеевна, ты подумай, последнего сына на войну угнали. Как я, инвалид, проживу без них? Оттуда разве вернутся? А мне года-то уж уходят. Может, и не свижусь с ними больше.

Мне было непонятно: почему плачет старик? Ведь его сын будет героем.

Это был праздничный, веселый день. В кухню вошел отец. Он сунул дворнику рубль. Старик мялся у порога, не уходил.

— Сына у него, Ваську, на войну забрали,— объяснила Алексевнушка.

— Ну что ж, гордиться следует. За родину, за отечество будет сражаться. Это отлично.— Отец повернулся и вышел из кухни. Старый дворник комкал в руке фуражку. Никто с ним не заговорил больше. Он тихо открыл дверь.

На пороге, у сбитого им половика, лежал праздничный подарок отца — серебряный рубль.

Может быть, Замбор считал, что он, избивая Климыча, не причинял ему боли? Офицер Замбор знал только одно: он бьет *солдата*.

— Ты, Зинка, словно моя Ульянка, такая же черная, а меньшая — та не такая, она беленькая, не в наше семейство вдалась.— Климыч внимательно смотрел на меня.

— На, Зин, достал тебе.— Трофим вытянул из кармана носовой маленький платочек и подарил его мне.

— Чего ты задумалась, Зина?— Гусев взял меня за руку и нежно потрепал мои волосы. Последнее время он все добрее и внимательнее относился ко мне.

*

Я вела прибывшее пополнение. Рядом со мной шел прапорщик. При свисте первой пули он низко наклонился, я взглянула на него. При свисте второй пули он сделал иначе: он вмиг наклоняется над сапогом и подтягивает голенища, он это делает так, как будто хочет сказать: «Вот, мол, ты не думай, что я боюсь». Я боялась не меньше, чем он, но я старалась в таких случаях владеть собой, чтобы и этим не вызвать сомнения к себе, как к бойцу.

— Она, ребята, пример нам показывает. Так, что ли, Зина? Вы не глядите, что она девка. Я вот поеду домой, враз свою Катю стрелять научу. Сгодится. Помяните мое слово.— Курносый Башмакин крепко затянулся махоркой.

— И Давид Маркович-то, царство ему небесное, тоже так про нее говорил. Пускай, говорит, привыкает, пускай стрелять учится, а там видно будет.

Глава седьмая

В хате дымила печь. Дым воспалял глаза. Я ушла в сарай. Укрылась шинелью. Вечера стали прохладные. Холодный осенний ветер рвал соломенную крышу.

В сарай вошел Саша. Мы долго разговаривали с ним.

— Вот я и говорю тебе, Зина, не легко нам. Какие у нас заработки? Используют нашего брата богачи, используют, поняла? А то бы разве мало я заработал? Я, — не думай! — я неплохой слесарь.

Ночь надвинулась по-осеннему рано. Тоскующе завывал ветер. Изредка доносились орудийные выстрелы.

Гусев пододвинулся ко мне.

— Зина. Я тебе давно хотел сказать, — все приглядывался к тебе. Сильно ты мне нравишься. Я тебе, так сказать, по-настоящему говорю, всерьез. Приголубь меня, Зин. Ласку твою помнить буду. Мне от тебя ничего не надо. Тут, при фронте, сама знаешь, всякие есть. Ты одна мне

нравишься. И интерес у меня к тебе большой. Ты не нашего звания, а обхождение у тебя такое мягкое и хорошее. Давид Маркович мне, так сказать, давно говорил, что из тебя человек выйдет, что ты не чужая нам, хоть ты и не наша.

Какая-то задушевная искренность слышится в Сашиных словах. Но, как только он возьмет меня за руку, краска приливает к моим щекам, и я отнимаю у него свою руку.

— Эй, кто там? Выходи. Возьми коня, подпруги не забудь отпустить. А ну, выходи скорее, чего заваландался!

Я слышу голос Замбора. Прижимаюсь сама к Саше. Поручика я ненавидела. Меня тошнило от одного вида приторно-галантной фигуры, мне уже не нравилось даже, что он так красиво одет.

— Ты чего дрожишь, Зина? Не бойсь, я в обиду не дам. Откуда его нелегкая занесла?

Сильный свет электрического фонаря забегал по стенкам сарая. Замбор осветил меня и Сашу.

— Заваландался с доброволицей. А, ну...

Поручик слегка коснулся стэком Сашиного плеча.

— Я дневальным стоял, меня командир отпустил.

— Не рассуждать.

Я порываюсь и иду за Сашей. Мне преграждает дорогу поручик.

— Мы вместе выйдем отсюда.

Замбор наклонился и шепнул мне:

— Ты не уйдешь от меня.

Повернулся и вышел из сарая.

— Прикажете расседлать коня?

— Пошел вон, сукин сын.

Мы остались с Сашей во дворе. Замбор сам подтянул подпруги, вскочил на коня и ускакал.

— Может, он к тебе приходил? Свидеться хотели?

— Гусев, неправду говоришь. Я ненавижу поручика. Я тебе все расскажу.

— Брось дурачить меня, давно все знаю. Придет он к тебе.

Сашкина несправедливость, наглость поручика оскорбили меня до отчаяния. Я выбежала со двора, оседлала «Гнома» и понеслась в поле, по дороге к деревне Коропец, где стояла шестая батарея.

На рассвете я полезла на наблюдательный пункт. Там заглянула в перископ. На опушке леса ясно было видно копошившихся австрийцев. Они то выбегали с носилками, то снова прятались в лес в своих куцых серо-голубых шинелях.

Там, может быть, был убит не один такой же молодой австриец из Кракова, такой же улыбающийся слесарь, как тот

пленный. И снова вспомнились слова Шанского: «в своих стреляют»...

Батарея замолкла.

Уезжая с наблюдательного пункта, я слышала, как командир батареи сказал другому офицеру:

— Переманим ее к себе. Идет?

С какой-то удвоенной злобой, с сознанием полного одиночества, незаслуженной обиды от Саши возвращалась я в полк.

Быстро шел мой «Гном». В свежести первых заморозков на меня повеяло испариной человеческой крови, запахом фронта, может быть, впервые я почувствовала, поняла всю нелепость этой бойни. Неотступно передо мной была улыбка австрийца из Кракова. Меня обдало холодом ужаса; лошадь моя пошла домой карьером, от ее быстрого хода, от осеннего ветра у меня свистело в ушах, и вдогонку слышалось протяжное, заунывное у-у-у-у-у-у-у...

*

Снег выпал неожиданно рано. Большими лохматыми хлопьями.

Я лежу больная в околотке. Врачи назвали мою болезнь «испанкой». Жар сушит мое горло, в висках стучит, точно там трещат кузнечики.

Немного уцелело построек в деревне Ракитно. В полуразрушенных халупах, в са-

раях разместились солдаты обоза. Врачи взяли меня к себе, в школьный флигель. Учителя не было. Он давно покинул свое гнездо, ища нового пристанища. Деревенская школа заброшена, крыльцо замело снегом. Сильным ветром разметало соломенную крышу. У порога своей одинокой квартиры, поджав под себя одну ногу, дремал черный петух. В деревне не слышно ребячьего смеха. Никто не играет в снежки.

Порой покажется крестьянка с ведрами, за ней, скуля, пробежит собачонка и возвращается быстро в свою конуру. Открываются ворота — это школьный сторож гонит к водопою корову. Тощему телу животного зябко; корова едва передвигает ноги.

Я лежу на складной кровати. Целые дни полковые врачи играют в преферанс. Мне надоело смотреть на их задымленные лица, на эту непонятную для меня игру. Меня тянет на улицу, на мороз.

Уныло тянутся дни. С утра до вечера и с вечера до утра все та же игра врачей. В перерывах врачи ухаживают за мной, и мне кажется, что они это делают тоже от скуки.

Вечером я выхожу из квартиры. Денщик врача Де-Моррея раздувает голенищем сапога самовар. Свободной рукой он трет глаза.

— Глаза засорил, Николай?

По лицу Николая текут слезы. Он получил письмо из дома. Кум сообщал Николаю о его жене. Анисья взяла к себе в работники пленного немца и сошлась с ним. Кум каракулями рассказал Николаю о том, как в деревне на Анисью пальцами показывают и смеются над ее отяжелелым животом.

В самоваре забурлил кипяток.

Николай, не расправив своих онуч, натянул сапог и понес врачам самовар. Я вышла во двор... Снег заскрипел под ногами. Качались голые деревья. Хохлились воробьи в дверцах чужой квартиры, покинутой давно улетевшими на юг скворцами.

Набросив на плечи шинель, облокотившись о плетень, стоял Николай. Подперев голову руками, он смотрел на раскачивающийся скворечник.

Мириады снежных искр то зажигались, то снова меркли.

*

Утро. Снова закладывается пулька. Де-Моррей оттачивает карандашик. Доктор тасует карты. Молодой врач Архипов позевывает.

Я собрала свои вещи. Попрощалась с врачами. Несколько часов я провела с больным «Гномом».

Шум пропеллера. Я снова бегу к врачам.

— Немецкий аэроплан.

— Почему именно немецкий? А может быть, наш? — испуганно спросил Архипов.

Все выбежали на улицу. Аэроплан кружится над нашим обозом. На окраине деревни разорвалась бомба.

— Бежим в погреб, — предложил де-Моррей.

Мы укрылись в погребе. Шум пропеллера не смолкал.

— Жаль, картишки не прихватили, — нарушил тишину Морозов.

— Я побегу за ними.

— Что вы, доктор, немец бомбит.

Но доктор Морозов уже не слушал. Он помчался к флигелю. Разорвалась бомба. Аэроплан пролетел совсем низко. Морозов вскочил к нам в погреб, дрожащими руками он тасовал карты.

— Предлагаю начать. Скучно так сидеть, ведь не в первый раз здесь сидим.

Иван Иванович Морозов достал чистую бумагу. Младший врач Архипов зевнул.

Игра началась.

*

В окопах меня встретили Трофим и Климыч. Саша словно и не замечал моего прихода. Он был послан сюда для связи.

— Саша, а Саша, чего молчишь?

— С офицерами крутишься? К артиллеристам ездишь?

— Неправда это. Не по душе мне офицеры.

— Лезут они к тебе. Знаю все.

— Ну, лезут, это верно, а что они для меня?

Саша махнул рукой и отошел. Попрежнему стало обидно и противно при воспоминании о поручике. Меня все больше тянуло к Саше. Хотелось говорить с ним, он многим меня заинтересовал. И мне так нравились его синие глаза. Хотелось услышать от него ласковое слово. Я старалась услужить ему, согрела воды, постирала его любимую косоворотку. Пришила пуговицу к шинели. Он не обращал на меня внимания.

Из обоза пришел раздатчик, сообщил мне о «Гноме». «Гном» выздоравливал, и я снова вернулась в команду.

Нас трое разведчиков поселилось в маленькой хате. Тут же, рядом с нами, жила наша хозяйка с тремя ребятами. Как здесь, так и в окопах меня всегда удивляла заботливость окружавших меня разведчиков. Если я снимала гимнастерку и брюки, они всегда или отворачивались, или кто-нибудь из них загораживал меня своей шинелью. Я привыкла к такому способу раздевания, так же как привыкли к этому солдаты. А раньше я раздевалась всегда

под шинелью. Мои соседи заметили это, и Трофим первый сам предложил:

— Я постою в дверях, подержу шинель, занавешу тебя, ну, а ты раздевайся. Томление какое-то, если в одеже-то спишь.

*

Мы спали на полу. Нос забивала копоть крошечного светильника. В коляске пищал ребенок. Мать встала, наклонилась над ребенком, широко зевнула, дала грудь сыну. Писк прекратился. Женщина постояла немного и снова легла. Ее широкая ступня медленно раскачивалась у меня над головой. И наконец остановилась. Темная ступня выпала из петли и тяжело ударилась о кровать. Женщина устало вытянулась вся и крепко захрапела.

Я ждала Сашу, хотела еще раз ему все объяснить. Кто мог ему наговорить на меня? Пропели третьи петухи, но он не возвращался.

Наутро было приказано всем разведчикам вернуться в окопы. С лошадьми остались обозники.

— Измотали совсем. То туда, то сюда. Я слыхал, будто бы расформируют нашу команду.— Подпоручик Никольский пошел вместе с нами в окопы.

За ночь намело много снега. Согнувшиеся фигуры людей переминались с ноги на ногу.

— Скверное дело, ежели варежек не дадут,— жаловался Климыч.

Днем австрийцы открыли беглый огонь по 12-й дивизии. Говорили о наступлении дивизии на лес Должок. Ночью пришли саперы. Рассказывали про слуховые колодцы, которые им приказали сделать. Говорили, будто бы австрийцы проводят к нам минную галлерею. Кривдин доносил Плахову о слышанных им подземных стуках. Солдаты шептались, всюду было слышно одно слово: подкоп.

Мы не спали. Прислушивались. Долгая зимняя ночь теперь казалась еще длиннее. Против участка четвертой роты крякали мины. Их разрывы пугали. Все думали: началось. Люди измучились. Спали тревожно.

Наступал яркий солнечный день. И проходил страх. В окопах начиналась жизнь. Капитан Крапивянский успокаивал солдат, обещая отвести их с этого участка. Он звал Плахова к телефону, просил разрешения отойти с позиции.

— Заживо людей собираетесь похоронить, что ли? Дальше так нельзя. Я беру ответственность на себя и уведу людей.

Меня всегда удивляла смелая речь капитана Крапивянского в обращении с старшим начальством. Мне казалось, что этот капитан ничего и никого не боится.

Австрийцы не стучали больше. Тихо было и на следующий день.

— Надо ждать взрыва,—доносил Кривдин.

По приказанию Крапивянского роты с наступлением темноты должны были перейти в резервные окопы. Пообедав, люди не облизывали своих ложек, вяло прятали их за голенища, а если ложка не слушалась, то ее бросали прочь. «Жук», кучерявая собака пулеметчиков, суетился, подпрыгивал и лизал руки солдат.

Я ободрала войлок с дверей землянки и, завязав его в палатку, перекинула огромный узел через плечо и вышла из окопов. В узком проходе увидела знакомую фигуру Саши.

— Зина, мне Иванов все рассказал. Ты это того, так сказать, извини меня. Не серчай. Я обидел тебя.

— Не я сердилась, а ты.

Я опустила узел с войлоком и так стояла, сдвинув папаху набекрень.

— Зина, слушай, я тебе так буду говорить: давай поженимся. Тебе удобнее будет. Я тебя к своей мамашке отвезу. Меня капитан Крапивянский посылают в Питер. Поедем, Зина. Разве ты не веришь, что и солдат хочет быть счастливым? А счастье, Зина, мне сдается, большое, большое. Ну вот как солнышко!

Снеговые, мутно-серые тучи нависли над окопами, а Саша говорил мне о счастьи, о солнце.

— Саша, ты подожди. Вот кончится война, тогда я согласна, а сейчас я не поеду, я уж пока здесь останусь. После.

— Эх ты. Думал я, что ты враз решишь. Думал, ты отошла от несуразу всякого. Нет, видать, свое берет. Ну, ладно. Буду ждать.

Саша поправил на плечах лямку вещевого мешка, попрощался со мной и пошел. Оглянулся. Сердце у меня больно защемило. Хотелось догнать его, остановить.

— Саша, Сашка! — Но не криком сказала, а шопотом, и неуверенный зов мой замер, больше я не звала Сашу. Подняла узел с войлоком и пошла в роту.

*

Под аккомпанемент трехструнной балалайки, раскачивая головой из стороны в сторону, напевал песню ефрейтор Ерыга.

Не то ну-те,
Не то тпру-те,
Говорили про войну:
То ли месяц,
То ли два,
Мир объявится
Сполна.
Темна ноченька
Придет,
Ясно солнышко
Взойдет.
По окопам немец
Бьет,

Землю кровушкой
Зальет.
Глянь-ка, братцы:
Там убило,
Здесь израняты
Лежат,
А начальство,
Задрав рыло,
Про конец войны
Трещат...
Не то ну-те,
Не то тпру-те...

Снова и снова запевал Ерыга. Он всегда был затянут ремнем на последнюю дырочку. Его маленькие черные глаза быстро-быстро бегали.

Вошел ротный раздатчик и рассказал новости: будто бы в одной из кавалерийских частей полк отказался итти в наступление.

— Их спешили и погнали в атаку. В шестой раз они не захотели итти на высоту. Там, сказывают, люди оглохли от беспрерывных выстрелов пушек шимоза. Весь город дрожал от выстрелов. Солдаты шли по снегу в наступление, а немцы отбивались контр-атаками. Слышали: есть новый приказ итти на помощь кавалеристам.

К вечеру новости подтвердились. Ставропольцы и крымцы должны выступить на поддержку конному корпусу графа Келлера.

*

В полночь нас сняли с позиции. За деревней полк построили. Вслед за арьергардом шла полицейская команда. По дороге мы встречали спешенных кавалеристов конного корпуса. Один из кавалеристов бросил на ходу:

— Не идите туда, на гибель посылают.

Шла, хмурилась пехота.

Полицейские ловили дезертиров и били их прикладами.

Сделав лишь один большой привал, ставропольцы прошли тридцать километров. Люди были без горячей пищи. В деревне встретили раненых кавалеристов.

— Наступали-наступали, в полку с сотню людей осталось. В шестой раз на высоту погнали. Дезертировать начали ребята. Кто куда. Сказывают, сколько наших в тылу переловили. Ужасть. Вчера так одного дезертира измордовали, страсть. Кабы нас много да не раненых, мы бы не дали измываться над ним. Дерягин Степан кровью истек под кулаком их благородия.

Раненые прикурили у пехотинцев и, опираясь друг о друга, двинулись по снежному полю.

*

Новые окопы были очень мелкие. Здесь не было ни одной хорошей землянки. Мы

с Терехиным нашли убежище: там посредине стоял ящик, а в углу намело сугроб снега. Над головами у нас торчало бревно.

«На зимние квартиры приехали. Но и здесь не легче. Домой бы сейчас, на полатьи» — раздумывал Трофим.

Мы уселись на лежанке, ничем не покрытой. Все были утомлены переходом и сидением в прежних окопах. Мутная, горячая жижица, принесенная раздатчиком, согрела немного нас. Сидя засыпали.

*

Дрогнула земля. Страшным, оглушительным гулом отдалось эхо.

— Взрыв.

— Господи, Никола-мученик, что это такое?

Все выбежали из хода сообщения. Батальонный вестовой стрелой пронесся мимо нас.

— Взрыв в 12-й дивизии.

За вестовым погнался Ерыга.

— Где? Кого взорвали?

Снова заклокотали пулеметы. По всему фронту открыли частый ружейный огонь. Пробежал телефонист. Климыч схватил его за рукав:

— Скажи, ежели что знаешь. Пошто народ томить? В толк не возьмешь. Взад или вперед?

— Саперы, наши саперы 12-й дивизии, взорвали австрийцев. Текают почем зря.

— Слава те, господи, поутру чаек с галетами пить будем. — И, кутаясь в свой серенький шарф, Трофим перекрестился.

Никто не предполагал, что одновременно с австрийцами рыли подкоп, только на другом участке, наши саперы. Никто не думал так скоро попасть в теплые австрийские блиндажи.

Наутро четыре линии окопов ставропольцы и крымцы заняли без потерь.

Черешенко, покручивая усы, улыбался:

— Ото ще диво! Лестричество на фронте! Зовсим, як у нашего пана на заводе. Якогось гудзика крутнешь, и заблескотит, як в тиатрах. Ну и красота. Во яка разумна людина.

Черешенко беспрестанно повертывал выключатель, любуясь австрийскими усовершенствованиями.

— А ты видел, как они патроны сюда доставляли? Глянь поди. Они их на вагончиках подвозили. Господи, пресвятая матерь богородица, глянь-ка, ребята: рукомойник висит.

Трофим взял на ладонь свою бороду и поднес ее к умывальнику. Рядом с умывальником висело чистое мохнатое полотенце.

Глава восьмая

Ветер подмел окопы и затих. Над австрийскими линиями задымили печи. Батареи молчали.

Наступила зима. Солдаты кололи дрова и в сумерках разжигали огонь в офицерских блиндажах. Там имелись сложенные из кирпича и глины настоящие печи.

Нам выдали папахи и башлыки. Мне нравился этот новый головной убор. Я заглянула в зеркало; от постоянных переходов лицо мое еще больше загорело и обветрело.

— Вот смотри, Ерыга: винтовку я знаю. И пулемет буду знать.

— Учишься? Пулемет, Зина, дело серьезное. Главное — это сумей задержки устранять. Учи ее, Ерыга. Я от Насти письмо получил. Если, говорит, что, то и я пойду и буду, как ваша Зина. Низко она кланяется тебе. Слышь?

Возле меня стоял Иванов. В этот ясный зимний день его голос не был угрюмым.

— Я научусь. Серьезно тебе говорю,— я буду стрелять из пулемета и задержки уже умею устранять. Вот спроси у Ерыги, — меня Саша учил.

— Да, она это того! В общем ничего, здорово,— похвалил меня Ерыга.

— Кланяйся, Иванов, своей Насте от меня. Не уходи, посиди с нами.

Ерыга притопывал ногой и, ударяя щепочкой по пряжке пояса, пел:

Как в окопах мы сидели,
Ото вшей тех очумели,
А приехал генерал —
Он нам в морды надавал,
Так, незнамо и пошто,
Аль заныло все нутро.
Тут мы к взводному, —
Мотри,
Нуть-ка слезы оботри.
А ен обиды не понял
И нам нос наковырял.

Климыч десятый раз огибал плечами у входа и вновь отмерял шаги.

— Брось, Климыч! Велико дело, девку твою замуж отдают. Года подошли. Чего ждать?

— Да не в том дело, Ерыга. Девке срок подошел,—это верно. Али за кого отдают-то? Брат урядника Николай Фетихин, вдовец с тремя ребятишками. Он с утра до ночи пьет, бабу свою, покойницу, до смерти довел да одно дитятко в брюхе ее

замертвил. А Оленька, моя дочка, — на всю округу красивей нет. Эх, обида.

— А ты, Климыч, не печалься больно-то. Поспи, перейдет печаль. Все одно отсюда не крикнешь семейству-то: стой, мол. Далеко они от нас, ой как далеко, прости, господи, меня грешного.

— А ты все крестишься, Трофим? Ну и как? Помогает?

— А кто его знает. Может, и помогает.

— А я так считаю, что мало помогает.

— Да ты, Иванов, насчет господней воли сомневаешься, это мы знаем.

— Он и насчет царской воли сомневается, — шопотом сказал Ерыга и весело рассмеялся. Вместе с его задорным смехом расхохоталась и я.

— Царь — он помазанник божий, и в его подчинении вся Россия.

— Помазанник... Да что ты в самом-то деле, Трофим. Хоть ты, хоть я, все из одной закваски сделаны. Так и царь со своими министрами. Никакие они не помазанники, от их озорства народ стонет. Не знаешь, что ли?

— Знаю. Сам знаю, и Давид Маркович, царство ему небесное, не раз нам сказывал. А все ж сомнение берет. Потому — царь. Это тебе не дырка от бублика.

Мы снова с Ерыгой громко рассмеялись.

— Тише вы: не дай, господи, услышат, — остановил нас Терехин.

Иванов, улыбаясь, посмотрел на Терехина, а затем тихо и с страшным негодованием сказал Трофиму:

— Задурили головы мужикам. Помазанник. На кого спину гнем? Не господские ли выгоды защищать нас послали? У мужика землю отбирают. Для чего моя Настя по двенадцать часов у станка стоит? Захирела от нужды. Теперь вот, видишь, не под силу стало. Пишет: бросайте, говорит, там эту войну, себя будем защищать. Ты что, Трофим, думаешь, этого тебе мало, коли баба заговорила? Не под силу им там. Понял ты? Выбрось дурь из головы, Трофим. Будто ты не знаешь, что творят над народом богачи? Загляни подальше своего носа.

— Выходит дело, может, оно и так. Ты не уходи.

— Пойду я. Пора мне. Прощевайте покаместь.

Иванов ушел. Все сидели молча, никто больше не смеялся.

*

Ставропольцы сменили Якутский полк.

Непосильные морозы держались все эти дни.

Лютый холод зимы шестнадцатого года не щадил никого.

Под утро мы шли с Терехиным в полевой караул.

Падал снег.

— Вот и смена пришла, вставай.

Трофим толкнул часового. Серая фигура, облокотясь на стенку, опустив голову, упиралась темной бородой в грудь. Руки раскинулись. Одна черная варежка его в пестрых заплатах валялась на земле.

— Вставай, братец, — смена пришла.— Трофим снова нагнулся над солдатом.

Серая фигура не отзывалась.

Трофим приблизился к уху часового и крикнул:

— Смена! Проснись, братец!

Молчание.

Вдруг Трофим схватил меня за руку и крепко ее стиснул.

— Зин, Зиночка, снежок-то на ем не тает. Упокойничек сидит, ей-бо, упокойничек.

Часовой не проснулся и сна своего поутру не рассказал землякам.

Терехин поднял с земли варежку, померил, — подошла. Другую снял с окоченевших пальцев солдата, похлопал рукавицами:

— Пригодилась, прости, господи, мя грешного...

Позже пришли санитары. Кряхтя, подняли в ледяной тяжести серую фигуру.

В вечной дреме застыло лицо. Тело в коленях не разгибалось.

А на том выступе, где уснул в эту лютую ночь часовой, лежал ситцевый его кисет, туго закрученный веревочкой; на земле валялся козьей ножки окурок.

*

Два дня продолжался бой за взятие командной высоты. В разбитых халупах лежали раненые. Многих отправляли в тыл, не сменив повязки.

Жирный, неповоротливый фельдшер вкладывал белый ком марли в глазной провал солдата. Хрусталь слез смешался с каплями крови, стекая к разорванному воротнику. Хирург Морозов окончил операцию. Солдат Кузька проснулся:

— Домой поеду?

— Может, и поедешь. А сейчас в госпиталь.

— Домой хочу.

Кузька посмотрел на блестящий ланцет врача и испугался.

— Ой, не надо. Не хочу больше. — Кузька приподнялся на локте и зачесал бок.

— Осподи, мамка родимая, где покой от них сыскать? Кусают, окаянные...

Разбинтовали рану Ибрагима Ахмедова. Его раздробленная кость чернела ожогом. Фельдшер отмывал вокруг раны перекисью водорода.

— Сама себя ранила?—смеялся Де-Моррей, занося фамилию солдата в книгу записей. Тоненьким голосом Ахмедов говорил:

— Я в казармах служил. В окопах служил. В Казань поеду.

Молодой татарин виновато улыбался и вопросительно смотрел на Де-Моррея.

Ибрагим Ахмедов не знал о введенном суровом наказании для самострельщиков.

Ибрагим Ахмедов, разглядывая свежую повязку и вертя обмотанной рукой, как марионеткой, — улыбался.

В этот зимний месяц все больше и больше бывали случаи самострелов. В полку зачитали приказ, гласивший о том, что самострельщики будут наказываться розгами и при вторичной попытке будут караться военно-полевым судом.

Фельдфебель полицейской команды Дубело самолично устраивал экзекуции над солдатами, точно выполняя приказ начальства: по сто розог самострельщику. Полковник Плахов одобрительно похлопывал по плечу Дубело. Их уход из сарая сопровождался протяжным человеческим стоном, обрывавшимся выкриком непосильной боли.

Все чаще то тут, то там среди солдат я видела пулеметчика Иванова. Он был угрюм. Его глаза были озабочены. Однажды он мне сказал:

— Скоро Саша вернется. Он сейчас здесь нужный.

— А я?

Иванов отодвинул меня легонько и быстро пошел в роту. Я не выдержала и побежала за ним. Иванов говорил, почти шопотом:

— Кто же из вас еще не понял всего?

— Ну, ты нам говорил про врага увнутреннего, а где той, враг увнешний, ежели ты говоришь, что немец и австрияк или там хранцуз нам не враг.

— И у немцев есть богатые, они и есть наши враги. И кто бы сейчас ни победил — русские или немцы, или австрийцы — действующую армию, — все одно, лишь бы мир скорее. Понял ты?

— Ну и правильно. Ну, а ежели конец войне, то земли нам больше дадут?

— Землю самим надо отвоевать у помещиков. Сейчас главное — мир.

— А ну, тихо...

Курносый Башмакин приоткрыл дверь. Из хода сообщения донесся слабый звон шпор.

— Ребяты, разойдись, поручик Замбор по окопам ходят.

Второпях Ерыга опрокинул котелок с давно пригоревшей кашей.

— А ну его в болото. Тихо, ребяты... Расходись помаленьку.

*

Еще суровее стали январские дни. Все больше обмораживались люди.

Солдат отправляли с ужасающей гангреной ног.

Меня вызвали в штаб полка. Полковой адъютант распечатал конверт и достал оттуда георгиевский крест четвертой степени.

...За проявленную храбрость в бою под деревней Симки.

Не помню, как я выбежала из штаба. Все еще слышались слова адъютанта: «за проявленную храбрость...» На дворе мороз, а мне жарко. В ходе сообщения я чуть не сбила с ног Иванова; он заметил мой крест, но ничего не сказал. Я снова почувствовала настоящий, январский мороз. Радость моя остыла. Лучше бы меня похвалил Иванов... Но он ушел... А Саша? А Трофим? У них нет креста. У Климыча есть два... У Черешенко есть один, а недавно он сказал: «За что заслужил-то их, хай им чертяка! Против своего брата, крестьянина, воевал!» Я уже не бежала больше. Я шла с чувством досады и горечи.

В землянке сидел Ерыга.

— Зин, ты теперь к своим езжай, покажись с крестом-то.

Но мне уже было все равно, я спрятала болтающийся крест в карман гимнастерки.

Ерыга подарил мне полевую немецкую сумку. Он уговаривал меня съездить домой:

— Да ты не бойся, тебе теперь выдадут документы, и ежели захочешь, приедешь к нам обратно. Мы и сами скоро по домам пойдем. Вот увидишь.

Меня вдруг потянуло домой, мне хотелось много им сказать, и пусть они на меня посмотрят, какая я теперь стала. Я вернусь сюда.

Глава девятая

В сумке Ерыги лежат мои документы: отпускной билет и литер на обратный проезд в действующую армию.

Я еду домой.

На станции Жмеринка я отправилась в зал первого класса.

— Не полагается нижним чинам входить в зал первого класса.

— Я с фронта.

— Не полагается, отойди, говорят тебе, — меня толкнул какой-то офицер.

Я ушла. А сколько было желания показаться в зале: пусть бы посмотрели, что я девушка, а была на войне. Но меня грубо не пустили, и им было все равно: с фронта я или не с фронта.

В Брянске поезд задержался на сутки. В зале третьего класса сидели солдаты, облокотясь о стенки. Там же примостилась женщина с ребенком.

— Слушай: может, ты из действующей? Чи не бачил ли ты моего Николая? Сгинул десь.

Женщина вздохнула и снова спросила:

— Ни? Не бачил? Сгинул десь. Нема.

Многочисленные составы поездов загромоздили путь. Из санитарного вагона высунулись сестры. Они пригласили меня к себе.

— Скажи, а на передовой линии люди, наверное, добрее, чем здесь? У нас все время кутежи, а на нас, сестер, так уж смотрят: а, сестра; ну, значит, с ней все можно позволить. Я побывала в трех лазаретах прифронтовой линии,— везде одно и то же. Недавно в меня брызнул вином офицер, я дала ему оплеуху, а меня уволили из госпиталя. А дома больные старики. У отца крошечная пенсия.

Живи, пока живется,
И пой, пока поется,
Ведь в жизни
Живем мы, живем мы,
Живем лишь только раз...—

запела вибрирующим голосом другая сестра.

Я попрощалась с сестрами и побрела вдоль санитарного поезда. Санитары выгружали раненых. Пронесли немецкого лейтенанта, раненного в грудь. Дыхание с присвистом вырывалось из его легких.

Под сильными винными парами, еле передвигая ноги, по перрону шли жандармский ротмистр и молодой корнет. Они подходили к санитарному поезду.

Офицеры задержались на минуту возле лейтенанта, отошли несколько шагов и снова вернулись. Хмель откинул назад корпус корнета, словно он переломился.

— Хрипит, свинья!

И резким пинком толкнул немца.

В одно мгновение вскочил раненый лейтенант, оставляя на холсте носилок огромный кровавый след. Лихорадочным блеском горели его глаза. Прозрачное восковое лицо дрожало конвульсиями. Высоко поднимая ногу, размеренным немецким шагом, с поднятой головой, он прошел мимо пьяных офицеров.

Санитары с носилками, вобрав головы в плечи и озираясь на офицеров, тихо обмолвились:

— Собака — и та никогда лежачего не тронет.

Ротмистр и корнет, перебросившись каким-то неестественным смешком, удалились к вагону сестер, откуда доносилось громкое пение:

Черные гусары, марш вперед!
Труба зовет, марш вперед!
Эх, наливайте чары,
Черные гусары...
Смерть вас ждет,
Труба зовет...

Долго тянулась ночь. Рано-рано двинулся поезд. Путь запорошило снегом. Еще

спали в деревнях. Кое-где тускло мерцали в избах огоньки.

Полустанок. Сонная женщина в полушубке, высоко подняв выцветший зеленый флажок, пропускает поезд. Девочка тянет ее за юбку. Черная собачонка возмущенно отбрасывает задними лапами комья снега. Толкая друг друга, раскачиваются давно замерзшие подсолнухи. Я вижу из окна последний вагон и вижу женщину. Она вяло опустила флажок и ушла к маленькой будке, одиноко стоящей среди снежного поля.

Уходили вдаль пустынные проселочные дороги. Деревенские избы исчезали за буграми. Качались маленькие ели, вспугнутые паровозом.

Солнце прорвалось через зимнюю мглу, озаряя розово-радостным светом новый день.

Поезд остановился.

Я выпрыгнула на знакомый перрон казанского вокзала.

Рябая клячонка старого извозчика потащила меня в Адмиралтейскую слободу. Мне казалось, что я никогда не доберусь домой.

Извозчик, размахивая кнутом, посматривал в мою сторону и ухмылялся:

— Мамашу вашу знаю. Братца вашего, царство ему небесное, знавал. Он с моим Ваней в гимназиях вместе учились. Демь-

ян Алексеевич, учитель географии, пристроили моего Ваню к бесплатному учению. Очень способный мой Ваня до учения. Тпрру... стой, неугомонная! Вот здесь и Крамские живут. На чаек, с вашей милости, на радостях свиданьица, пожалуйте. Овес ноне во какой дорогой! Высокая цена на овес, — извозчик высоко поднял кнутовище и привстал с козел.

Я отыскивала у себя в вещевом мешке маленький узелок. Руки мои дрожали от нетерпения увидеть родных. В узелке хранились памятные для меня серебряные пятачки, — мой выигрыш в окопах, где мы играли в орел и решку. Я отдала извозчику пятачки.

Долго простояв на нашем крыльце, я не решалась позвонить. Наконец поднялась на носках и нажала кнопку. Знакомые быстрые шажки Валькиных ног застучали по лестнице.

— Кто там?

— Валя, открой! Свои.

Валька повисла у меня на шее. Мать не выпускала из объятий, крепко прижимая меня к себе. Она щупала мои волосы, лицо и снова притягивала к себе. Отец крепко и много раз поцеловал. Старая нянька заливалась слезами. Дома было тихо и тепло-тепло. Старый пес Тобик долго принюхивался ко мне и наконец успокоился у моих ног.

— Зинаидища-то наша какой герой, какой герой! — Отец ходил из угла в угол и дымил своей большой трубкой.

— Сядь, говорю тебе, сядь,— мать просила отца не ходить, пододвинулась ко мне и снова прижала к себе.

— Да не ходи ты, не стучи,—просила она снова. Может быть, ей хотелось слышать даже биение моего сердца, а шаги отца мешали ей.

— Соскучилась я о тебе. Родная ты моя.

Отец наклонился, поправил мой крест.

— Зина, а за что у тебя крест? — любопытствовала Валька.

— Мой Ульяныч, бывало, какие страсти про войну турецкую рассказывал. А ты неужли не побоялась на зверство немчуров попасть? Времена-то какие! Девочка солдатом заделалась.

— Зина, смотри, сколько у меня птиц. Идем, покажу всех. Вот, смотри, это чижик Яшка, это снегирь Спиридон, а это синичка, Ганькой зовут. Мама, да отпусти ты ее в самом деле. Она же больше никуда не уйдет.

*

В доме запахло праздничными пряниками и тортом.

В коридоре над большим сундуком стоял отец. Аромат ванили, корицы и табач-

ного дыма отцовской трубки напомнил мне генерала Мичволодова. От него тоже так пряно пахло.

Мать достала из сундука парадный сюртук отца.

— Пойдем, Зина, в собор, порадуй старика.

Я туго подтянула поясом шинель, надела на плечи башлык и надвинула папаху. Отец наклонился и поправил мой крест, протерев его носовым платком.

— Пошли, дочка.

Стуча костылями о каменные плиты, пробирался в церковь солдат. Две старухи в бархатных ротондах, в чепцах с фиалками, едва прикрывавших макушку, вышли из церкви. Они чуть не упали, увидев меня:

— Мадмазель Крамская, — солдат...

Я громко рассмеялась. Отец строго посмотрел на меня. Нищие расступились перед нами; удивленные, они опустили протянутые за подаянием руки и зашептали вслед.

В храме отбивали поклоны за «убиенных воинов», хор надрывался в бесконечном «господи помилуй, господи помилуй». Раскачивая кадилом, мимо прошел дьякон. Он точно лебезил ладаном перед иконами.

Я сказала отцу:

— Идем. Хватит. Надоело здесь. Я хочу домой.

Мне вдруг стало тесно от запаха ладана; купольная громада придавила меня своей тяжестью. Я потянула отца за рукав.

Нехотя он вышел из церкви. У ворот я встретила нашего дворника. Он еще больше постарел. Я поздоровалась с ним, пожав ему руку.

— Митя твой вернулся? Нет?

— Нет. Где там. Оттуда разве вырвется.

— Ты заходи к нам. А может, сейчас пойдем?

Дворник нерешительно посмотрел на отца.

— Потом зайду.

— Зина, я жду тебя. Идем.

— Я забегу к тебе. Поговорим. Я все расскажу, как там.

Отец шел со мной молча. Он позвал извозчика. Мы поехали по Грузинской улице. Необыкновенный шум наполнял город.

Окруженная надзирателями, по дороге к Арскому полю шла толпа людей. Одни шли, кутаясь в серые халаты, другие раскрывали грудь, вытирали со лба пот, словно им было жарко, как в день июльской истомы. Иные боязливо озирались, глядя на прохожих, высматривали кого-то. И то плакали, словно дети, то неистово хохотали. Сверкали глаза молодой женщины, ее щеки пылали. Лицо улыбчиво-нежное. Она крепко прижала к своей груди сверток каких-то тряпок.

Баю-бай, баюшки...
Спи, усни,
Мой родной...

Тихо лилась песня ее бархатного контральто.

Шла толпа безумных, эвакуированных из Варшавы в Казань.

Сзади в облупленных каретах везли буйнопомешанных. Оттуда вырывался вопль. Толпа остановилась. Зажглись огни в окнах психиатрической больницы «скорбящей божьей матери». Распахнулись чугунные ворота.

*

Все ушли. Я осталась одна в квартире. Уютная тишина пугала. Валькины птицы стучали коготками о проволоку клеток. Мурлыкал рыжий кот Петька, сладко похрапывал старый пес Тобик. Мерно раскачивался маятник стенных часов. Мне вдруг захотелось переставить здесь все по-новому, сдвинуть всю мебель, оборвать цветы, все передвинуть вверх тормашками. Я соскочила с дивана, подбежала к часам, с силой толкнула маятник, высоко закинула занавески, разбудила кота, растолкала Тобика. Двинула ногой качалку. Затрезвонила на Валькиной гитаре, играя на ней, как на балалайке. Тобик залаял, кот поднял хвост трубой, прыгнул на шкап, оттуда с

грохотом упала пачка старинных вальсов. Собака расшвыряла ноты.

Все пришло в движение.

— Что за шум?— вернулся отец. Он поправил пенснэ, подошел к часам и остановил их.

— Ноты упали, сейчас подберу.

— Я освободился, давай побеседуем. Расскажи мне, как там, на войне. Познакомилась ли с нашими офицерами? Кто командует вашей дивизией? Я читал о 19-й дивизии.

— Генерал Мичволодов. Видела его однажды.

— У него, наверное, много наград?

— Не знаю. На передовой линии генералов не видела.

— Конечно, в бой должны итти солдаты. Их много.

— Но ведь генералам нужна эта война, а не солдатам.

— Как это не солдатам? А родина, а отечество?

— Народ беднеет еще больше от этой войны. И ничего хорошего не видит. Разве ты не знаешь, что война нужна богатым? Разве ты не знаешь, что и у немцев и у австрийцев есть богачи, которые заставляют воевать людей для своей пользы.

— Кто вбил такую дурь тебе в голову?

— Если бы ты видел все...

— Что все?

— А зачем Замбор бьет солдат?

— Очевидно, упрямствуют в чем-либо. Ополченцы, например, мы слыхали, только под плеткой идут в бой. А кто будет защищать родину? И кто такой поручик Замбор? Ты с ним знакома? Он, наверное, очень боевой офицер?

— У Замбора под Киевом большое имение. Он командует пулеметчиками.

— О, это, должно быть, боевой офицер, — он стоит у пулеметов?

— Ерыга у пулемета и другие. А не он.

— А кто это Ерыга? Какая-то некрасивая фамилия.

— Ерыга — мой хороший знакомый.

Отец пожал плечами и недоумевающе посмотрел на меня. В коридоре задребезжал звонок. Я открыла дверь. Вошел акцизный чиновник.

— Ах, как это замечательно: ваша Зина — герой.

— А-в-а-н-т-ю-р-а!.. Я теперь вижу, что это а-в-а-н-тюрррра... молодости, Иван Спиридонович, — сердито сказал отец.

Я захлопнула за ним дверь и вышла. Я громко передразнила отца и быстро заговорила, сбегая по лестнице:

— Авантюрррррра... авантюра.

Дверь приоткрылась; я слышала, как Иван Спиридонович говорил отцу:

— Слыхали, Константин Константинович? В Питере неспокойно. Маршевики от-

казались на фронт выступать. Подумайте, что творится.

*

— Ты мне про главное-то не сказала: что говорят там про войну, скоро ли она кончится? Не дождусь я Васьки. А?

— Зина, Зиночка, папаша вас спрашивают.

Алексевнушка стояла посредине двора, Валя ждала меня на крыльце.

— Ты где была?

— У Петра Семеновича.

— Что у тебя за знакомство с дворником? Сколько времени не была с матерью и часами просиживаешь в дворницкой.

— От Васи известия нет.

— От какого Васи?

Я посмотрела на отца. Мне хотелось крикнуть ему на весь двор, на всю квартиру, чтобы он понял наконец, расслышал горе старого Петра Семеновича.

Вечером, бросившись на кровать, я делилась с матерью:

— Мама! Пойми меня, я не могу больше так жить. Я с вами, с отцом, с Валькой, но вы ничего не понимаете. Вы свои, но ужасно какие-то далекие, чужие.

— Господи, что же это такое? Я врача позову. Ты бредишь, у тебя температура.

— Никакой температуры. Не надо доктора. Я здорова. Мама, пойми меня!

Я отвечала сама себе на тысячу вопросов, а мать сидела и прикладывала мне холодные, никому совершенно не нужные компрессы.

Я долго не могла уснуть на этих взбитых матерью мягких и еще детских перинах. Утром я подняла голову с мокрой от слез подушки.

Днем собрались гости. На стол подали горячие блины. Сухая, чопорная мадам Вольф, начальница гимназии, два чиновника с женами и учитель математики. Тут же сидел неизменный Валькин учитель, — черный, гривастый студент Иннокентий.

— Константин Константинович, ваша Зина, и вдруг — зольдатен... Все-таки это нескромно...—Мадам Вольф опустила лорнетку. — Она больше не пойдет на войну. Что это за шутки: девушка и—зольдатен. Фантазии...

— Молодость... молодость... авантюра,— поправляя пенснэ, отец снова посмотрел на меня недружелюбно.

— Нет, что вы, она ж герой,— вставил свое слово акцизный чиновник.

В коридоре зашаркала Алексевнушка. Не снимая с себя шубы, в комнату вбежал товарищ прокурора, Кунев Иван Максимович.

— Извините, я на минутку. Какие новости: Распутина убили. И говорят...

Кунев что-то шепнул отцу на ухо.

— Конец российскому властителю и наконец-то, — студент Иннокентий встал и вышел из комнаты.

— Ч-т-о-о-о?.. — приподымаясь со своего стула, мадам Вольф закатила глаза под потолок.

— Я побегу дальше. Дела, знаете ли, дела!

— Покушайте блинов, Иван Максимович. Хотя еще не масленица, но все равно недалеко, — усиленно предлагала мать, но Кунев уже умчался.

— Какая вольность, какие времена! Вот, на-днях я нашла вот это, вот это... Пожалуйста, прочитайте... Это в стенах моей гимназии. Я подозреваю брата одной девицы, он вольноопределяющийся. Вот эта бумажка.

Отец читал:

В столице — там звон шпор
В дверях шантана,
А здесь в окопах—вой
Свинцового шайтана.

Там генерал красотку
Обнимает.
А здесь солдат чесотку
Матом покрывает...

Министры там карманы
Набивают,
А здесь солдат
Слезою раны
Омывает.

В салонах там
Распутинский
Дебош,
А здесь, в окопах,
Всех одолевает вошь...

— Да. Это свобода слова. Это чорт знает, чем занимается молодежь, — акцизный чиновник громко сморкнулся.

Снова в дверях показалась Алексевнушка.

— Зинушка, тебя солдатик спрашивают.

Гости насторожились. Мадам Вольф заерзала на стуле. Я зацепилась за ее стул, отец вдогонку кричал:

— Даже не извинилась перед мадам...

На кухне, у Алексевнушкиной кровати, перебирая в руках складки ситцевого полога, сидел осунувшийся и постаревший Климыч.

— Проездом я, Зина. У Ерыги взял твой адресок. Был легко раненый, ну и домой завернул на денек-другой. Отпустил меня доктор. Теперь на фронт еду.

Я обняла Василия Климыча. Стоявшая сзади Алексевнушка не выдержала:

— Маменька-то что скажут? С солдатом целуешься. Посрамись, Зинушка.

Я потянула Климыча и повела в столовую.

— Мама, это Василий Климыч, мой гость. Садись, Климыч.

Василий Климыч поздоровался с гостями,

Мадам Вольф протянула ему два пальца, и я видела, как она спрятала пальцы под скатерть, тихонько вынула кружевной платочек и вытерла руку. Валька пододвинула Климычу блины. Отец усиленно дымил трубкой. Алексевнушка стояла в дверях, перебирая пальцами; губы ее что-то шептали.

Молчание нарушила мать.

— На фронт следуете или с фронта?

— Из дому еду. Проведал их. В деревнях-то скупятся на письма. Раненый был. С дочкой вашей не раз под огнем сиживали.

— Скажите, пожалуйста, что у вас в деревне говорят вообще?

— Да так, что к тому идет — воевать не будут. Против своего брата кровь проливаем. А вот насчет господ...

— А вы, зольдатен, на войну едете? — перебила Климыча мадам Вольф и, заискивающе улыбаясь, наклонила к нему свою голову.

— На фронт еду, кончать будем войну. Вот с Зиной-то мы не раз на брюхе под проволочные заграждения ползали...

— На б-р-ю-х-е... ах...

Вольф резко отодвинула стул, гости заволновались. Мать уговаривала Вольф посидеть еще, но все быстро стали расходиться. Сзади, быстро семеня ногами, шла Алексевнушка.

Мы остались с Климычем вдвоем.

— Зина, время теперь подошло горячее. На фронт ехать надо. Я сегодня был в запасном полку; велят криком кричать, чтоб войну бросали. Обнищал народ. Сил боле нет. Пускай баре дерутся.— И ласково Климыч сказал:— Сестрица твоя хорошая, мамаша симпатичные, а папаша малость хмуры.

— Климыч, ты останься у нас.

— Нет, Зина, я пойду. В трактире меня брат ждет, утром снова в полк сходим, там земляки у нас, и поговорить надо. Ты, Зина, езжай со мной в действующую. Дела будут. Неужели ты теперь будешь в кисеях у маменьки сидеть? Гришку-то Распутина, соспальника царицы, убили.

— Я поеду, Климыч. Поеду я.

— Выпейте еще чайку, — предложил отец, вернувшийся вместе с матерью.

— Нет, спасибо. Закурить не желаете ли?— Климыч провел ногтем по папиросной коробке, на которой был изображен Кузьма Крючков.

— Благодарю вас, я трубку курю.

Мы вышли с Валей проводить Климыча. Отца и матери не было.

— Какая у вас большая борода.

— А у вас, барышня, косичка большая,— улыбнулся Климыч.

Я вышла за дверь, Алексевнушка тянула меня за руку:

— Закройся, простудишься. Ишь дверь-то распахнул, лохматый!

— С характером старуха. Ну, иди, Зина. Собирайся. Завтра поедем. Чего долго-то раздумывать.

*

В этот вечер мать до поздней ночи сидела у меня на постели.

— Мама, я снова хочу ехать на фронт.

— Что ты говоришь, Зина! Не дай, господи! Сейчас неспокойное время,— слыхала, что говорят? Ты погибнешь там. Что ты еще придумала?

— Не проси меня, мама, мне тяжело здесь, я не могу больше так жить, я уже сказала тебе. Я сжилась с солдатами, и мне здесь плохо. Не знаю, почему, только тут я не останусь.

Мать вся прижалась ко мне, я с трудом оторвала ее от себя. Она цеплялась за меня, плакала. Сбежались домашние. Валька брызгала на мать водой из графина.

— Злая ты, Зина. Вот что я тебе скажу...

— Не злая я, Валька. Ты ничего не понимаешь.

Долгие часы я просидела в кабинете отца. Он возился за дверью, утешая мать, ей давали лекарства, брызгали на нее водой, а я... в эти минуты мне не было жаль ма-

тери. Все ее слезы казались мне ненужными и лишними. Я твердо решила ехать с Климычем.

...«Сашка теперь нужный здесь...»— вспомнились мне слова Иванова. Может быть, нынче Иванов сам бы позвал меня.

Поеду я. И словно волна подхватила и захлеснула всю необыкновенной радостью.

Я спешила. Мне некогда было заглянуть к матери. Мне казалось, что они все стали сейчас страшно маленькими, а я старше их всех,—и стыдно было за отца, что он такой маленький. Что он такой, в то же время большой и старый, и не мог понять меня. Вся наша квартира сжалась, съежилась и уплывала далеко-далеко...

С нетерпением я ждала утра. Чуть проснулся свет, я вышла на крыльцо.

За воротами проскрипели полозья саней. Лошади тащились, покрытые инеем.

Крепкий февральский мороз захватывал дыхание. В доме горели огни. Но там все успокоилось сном.

В кухне я прошла мимо Алексевнушки, сложила все вещи и приготовилась к отъезду. За завтраком все сидели молча. Валя засыпала корм птицам. Не глядя в глаза друг другу, все встали и разбрелись по своим углам. Алексевнушка попрежнему села у окна вязать чулок.

Солнце ворвалось в комнату и снова ушло за косматые, снежные облака. Тоскующе завыл ветер. На улице поднялась снежная пыль. Белая вуаль затянула окна.

Стряхивая снег с шинели, Климыч вошел в кухню.

— Вот калачей сколько надавали. На дорогу хватит и туда привезем.

— Это что ж такое? Мы тебя за хорошего человека приняли, а ты смутьян какой-то оказался. Зачем дочь смущаешь?

Отец громко двинул кухонную табуретку и подошел к Климычу.

— За угощение спасибо. А вот вы, барин, не очень-то уж на кипяток берите. Не велики страсти. Зина-то — она сама все решит. Не маленькая. Сама сознание имеет.

— Не пущу ее никуда. Слышишь ты?

Отец хлопнул дверью.

— Тятька, Зин, один, а народу миллен, вот тут ты и решай сама.

— Иди, Климыч, а на вокзале жди меня.

*

Прошел час, а может быть, и больше. Отец успокоился и ходил довольный; он не заговаривал со мной, но ему казалось, что я раздумала уходить из дома. Все рано легли спать.

Не захватив с собой вещевого мешка, перекинув через плечо ремень Ерыгиной сумки, я быстро оделась. Папаху натянула до самых кончиков ушей.

Сквозь крутанину метелицы словно волчьи глаза светились зажженные фонари в затоне Волги.

Февральский ветер подхлестывал полы моей шинели. Ноги тонули в сугробах снега. Тусклый отблеск фонарей на дамбе искрил снег.

Мимо промчалась тройка. Громада кучера генерала Сандецкого, отдаляясь, стала едва видимым силуэтом. Словно черный колпак, железнодорожная будка становилась все ясней и ясней.

Вокзал. Перронная суета. Климыч у вагона. Гудок паровоза. Печаль прощания, и снова мерный стук вагонных колес.

Глава десятая

В Тарнополе, пройдя шумной привокзальной улицей, мы пошли к этапному коменданту. Там узнали о местопребывании наших частей и, миновав площадь Яна Собесского, догнали обоз.

По дороге на Бучач шли подводы с сеном. Мы попросили фуражира подвезти нас до Монасторжистка.

Я замерзла на подводе.

— Не доеду. Пожалуй, замерзну.

— Я тебе вот так скажу: полезай-ка ты сюда, от ветра будет защита,— ездовой разгреб тюк сена, я залезла в ямку и там укрылась от студеного ветра.

— Ну, как?—спросил Климыч.— Не дует?

— Хорошо. На, возьми себе мой башлык.

Я задремала. Ездовой пел. Он пел близко, а голос его далеко уносил ветер.

Изба крохотна
На долинушке,

В ней Дуняшка-краса
Пестит сына своего.

Светлый день пришел,
На земле роса,
Глаза Дунюшки
Все глядят в окно...

По дорожке пыль
Невеселая...
Тятька в землю
Зарыт,
Не откликнется.

Голос оборвался. Подвода остановилась.

*

— Глянь-ка, ребята, Зинка вернулась. И дома-то мало побыла.

Со мной здоровался Трофим, за ним подошли Черешенко и Запорожец.

Словно я залпом выпила стакан содовой воды,— заломило в переносице и подступили слезы. Потоком хлынули на меня переживания последних дней. Вспомнились отец, мать, Алексевнушка, Валя и почему-то старый пес Тобик, и страшный мороз в дороге.

— Прриии-е-х-а-лл-а я, о-п-я-ть приеха-ла...— Еле выговаривая, я разревелась.

Подошел Ерыга. Я посмотрела на его тоненькую талию. Он придвинулся ко мне.

— Зин, Зина, чего ревешь-то? Обиду какую над тобой учинили или чего другое? Скажи.

Ерыга погладил меня по плечу, и не знаю отчего, но я еще громче заревела.

*

По окопам разнеслась весть о свержении царя. Офицеры старались скрывать эту весть, всюду шептались, собираясь в блиндажи. Трофим крестился у дверей землянки.

— Что ж теперь будет?

— Что было — видели, а что будет — это еще поглядим.

— Теперь конец войне может выйти.

— Домой бы скорее. К чорту ее, войну эту.

— Здорово, ребята... Здравствуйте и вам.

— Сашка! Гусев! Саш!..

— Саша, чего это ты на «вы»?

— Ну, здравствуй. Так это я. Большая ты стала. Как бы не признал, выходит.

— Ну да, не признал.

— Здравствуй! — еще раз поздоровался со мной Гусев, и внезапно у Саши исчезла улыбка.

— Что воевать или не воевать — это еще как сказать. Просили вам передать, чтоб оружие не бросали здесь. А войну долой. Против немца больше не пойдем, против своего брата — рабочего не пойдем. Поняли?

— К чорту оружие. На кой оно ляд? Долой, и с тем до свидания.

— Чужое добро защищал, а свое не желаешь?

— Ну, ладно, не горячись больно-то, после поговорим.

Солдаты кольцом обступили Гусева.

*

По утрам стояли туманы. Не надолго показывалось солнышко и снова тонуло в облаках.

В полдень рявкнула австрийская батарея, и у нас, в первом, разрушило землянку. У меня дрогнуло сердце.

— Саша. Где Сашка-то? Он туда пошел. — Ерыга потянул меня за гимнастерку, и мы побежали туда, где был разрыв.

Там уже откапывали людей. Вот показалась большая ступня Черешенко. На его грудь навалилась глыба земли.

— Це я, Петро. Узнаешь меня? Петро, ты выживешь, ей-бо, выживешь.

— Грицко, не чуешь хиба, як гарно співают?

Черешенко замолчал, и Запорожец больше не услышал его голоса.

Климыч мертв. Его открытый рот забит землей. Борода заклеена кровавой кашицей. Терехин взял руки Климыча и сложил их на груди. Я оттащила Ерыгу от земля-

ной стенки. Впереди нас несли Климыча. За носилками с непокрытыми головами шли Терехин и Запорожец.

Ерыга ушел в убежище. Я шла ходом сообщения. Шла так, не зная, куда иду. Кончились наши окопы. Меня остановили крымцы.

— К нам в гости пришла? Ну что ж, заходи. Ты чего-то никак перепугана?

В землянке пили чай. Хрустели сахаром. В углу сидел прапорщик. Его волосы были длинны, он хмурил брови, вытягивал сухую шею и тянулся к солонке. Он густо-густо посыпал солью черный хлеб. Напившись чаю, он вытер лицо полотенцем и забурчал под нос: Gaudeamus igitur. Я слышала этот мотив от Валькиного учителя Иннокентия.

— У нас Климыча убило. И Черешенко.

— Это кто ж такие?

— Люди нашего взвода.

— Ага, люди! Людей жаль. Очень жаль,— пробасил прапорщик, недружелюбно взглянув на другого офицера.

— Ну, ладно. Я пойду.

— Что ж так мало посидела?

— Так. Хожу по окопам. Скучно сейчас стало. Климыча нет. Черешенко нет.

Мне думалось, что этот длинноволосый прапорщик поймет меня.

— Анисов!—крикнул другой офицер.

— Так точно, я Анисов.

На пороге появился солдат в прожженной на боку шинели и с маленькими глазами на полном лице.

— Чудак ты, Анисов.

— Так точно, чудак я Анисов.

— Ну, так вот, ты согрел бы нам чайку. Понял?

— Понял Анисов.

Медленно я возвращалась в свою роту. Усталость и страшная тоска не оставляли меня весь день.

*

Таял снег. Но земля еще не проснулась. На полях лежал чумазый снег. Ветер стал по-весеннему влажным. Мы сушили шинели. В окопах стояла испарина от солдатского сукна. Кожа на сапогах коробилась. С трудом натягивали сапоги. Вода лилась, проникая во все скважины и щели землянки.

Ерыга достал свою кружку для чая. Потянулся за ложкой. На лежанке у него сидела большая жаба.

— Ах ты сука. Сука и есть. Чего глазами хлопаешь? Ишь, где приют сыскала.

Ерыга отстегнул ремень, замахнулся было на жабу и, раздумав вдруг, тихонько толкнул ее кончиком ложки. Пятнастая не шелохнулась.

— Сидишь? Тебе от сырости раздолье, а у меня кости выламывает. Ну, сиди, места хватит.

— Трофим, ты чего задумался?— спросил Саша и отодвинулся немного от меня.

— Скука заела. В земле сижу, а по земле скучаю. Теперь бы домой, — скоро и пахать время. А ты тут сиди сиднем, как припаянный. Тоска берет. Может, и не дождешься конца. Климыча-то прикончило.

С потолка упали тяжелые весенние капли. Жабьим голосом закричала пятнастая. Трофим снова заговорил:

— Ну, вот велико дело: царя нет. А что толку-то? Все, как было.

— Сегодня опять горячей не подвезут. Ну и правду сказать, ног в лощине не вытянешь. Глина-то — она вязкая.

Окопы левого и правого флангов были расположены на возвышенном месте; к ним, в средину участка, беспрерывно шла вода. Спасаясь от воды, мы перебирались из одной землянки в другую.

— Кубанцы идут на смену.— Эту весть принес из обоза телефонист. До прихода смены оставались сутки. Вода лилась беспощадно. Под руководством капитана Крапивянского солдаты делали запруду. У стыка, где кончался первый батальон, люди сбрасывали с себя груз. Заработали лопатами, набрасывая землю. К вечеру была готова запруда. Беспрерывно мы выкачивали

воду. На следующий день, когда подошла смена и мы собрали вещи, приготовившись к выходу, неожиданно хлынула вода. Она устремилась по ходу сообщения, заполняя окопы.

— Чудаки, вот чудаки,— запруду нашу прорвали,— смеялся Крапивянский, хлюпая по воде.

В темноте мы вышли в лощину. Но и там было не легче. Размякшая глина втягивала ноги. Словно по команде люди наклонялись поочередно то к одной, то к другой ноге, отрывая сапоги от глины. Ночь была темная. Люди стукались лбами друг о друга. Неистово ругались, а вдогонку немцы посылали шрапнель за шрапнелью.

— Чорт бы их побрал. Дали немцам занять командные высоты, а сами окопались в низине. Идиоты, безмозглые,— громко, не стесняясь, ругался Крапивянский. — Забрались бы повыше, обеим сторонам было бы легче.

При выходе из лощины пришлось итти чуть ли не по пояс в воде. Подполковник Кривдин кричал на Запорожца:

— Наклонись, сукин сын! Наклонись, галушка паршивая! Ну, подвези еще малость.

Запорожец шел по воде, пригнув голову. На его плечах, свесив ноги, сидел Кривдин. Крапивянский подошел сзади и дернул За-

порожца за шинель. Смелость капитана удивила всех. Запорожец споткнулся, и Кривдин упал в воду. Он долго барахтался в луже. Люди собрались вокруг него, и никто не помогал ему выйти из воды.

— Я вам покажу, я вас под арест отдам.

— А с кем воевать будешь?— раздался голос из темноты.—Поездил на солдатском горбу. Хватит.

Капитан Крапивянский шутил всю дорогу, а Кривдин бессильно карабкался, попадая из одной ямы в другую.

*

Солнце нянчило поля. Какие-то дальние напевы птиц нежили лес. В этот весенний день Саша пришел к нам веселый, с большим красным бантом на груди. Солдаты встретили Сашку с понурыми головами.

— Ну и ривалюция, а что из этого? Отпусков нету. Пища не улучшается. Раз ривалюция, должны во всем нас спрашивать.

— Зачем войну не прикончат? Мир надо объявить.

— Товарищи! Прошу слушать,— Сашка влез на бревна. — Товарищи, в 12-й дивизии немцы братаются с нашими. Ура, товарищи!

— Ура! Ура! Брататься!

Ерыга высоко подбросил фуражку, Те-

рехин перекрестился. Я смотрела на Сашу, мне было весело и хорошо. И день был над нами такой светлый-светлый.

— Товарищ Зина!

Я оглянулась. В эти минуты мне показалось, что солнце стало ярче, поголубело небо и весенний день запел радостную, звонкую песню.

— Товарищ Зина! — снова окликнул меня Иванов.

Впервые он подошел ко мне с этим обращением. Впервые я ответила ему так же просто, как он.

— Идем завтра брататься к немцам. И Сашка пойдет.

— И я тоже,— подскочил Ерыга, подтягивая ремень на последнюю дырочку.

Саша соскочил с бревен, подошел к нам. Мы отправились в хату.

— Прими вот подарочек, так сказать.— Саша вынул из кармана чуть увядшие подснежники.

— Весной-то всяк человек млеет,— улыбнулся Саше Трофим.

— А ты, Трофим, как?

— Я что ж? Я ничего. Пахать бы сейчас время.

*

Вестовой командира полка жаловался нам на своего командира:

— Тащу ему этот ёд и тащу. Лакает он

его и лакает. «Для крепости, говорит, организма пью». Вчерась позвал к себе Дубело и опять передал через него всякие тючки для Галинки. А Дубело и говорит Галинке: «Не перечь, девка, командиру, одарит он тебя».

...Высечь велю, куда полез, подлец! Не тронь ее...

На дворе Дубело тащил за руку Галинку, хозяйскую дочку. Девушка упиралась, плакала и царапала руки Дубело. Капитан Крапивянский кричал:

— Отпусти, говорю!

— Вашблагородь, вас командир полка требуют.

— Зина, ты поди с Ерыгой послушай, чего у них там будет.

Мы приблизились с Ерыгой к окошку Плахова. Я расслышала слова Плахова:

— Вы молодой капитан. Как вы смели?

Мы видим, как Плахов надвигается на капитана, Крапивянский взялся за эфес шашки.

— В чем дело, господин полковник? Я не понимаю, зачем вы меня вызывали, вы скажите все своими словами,— подтрунивал Крапивянский.

— Какое вы имеете право? Как вы смеете? — Плахов крепко сжал свой посох.

— Я не понимаю вас, господин полковник. Я угрожал полицейскому, но вы скажите, за что?

— Я вам приказываю замолчать. Уходите.

Крапивянский повернулся и ушел. Мы отстранились от оконной рамы. Слышно было, как быстро уходил капитан.

— Ну, ты подумай, Мельников, у него нехватило храбрости признаться, за что он на меня кричал. Так и не сказал, блудливый дьявол.

Вечером, когда все собрались у церковной ограды, отплясывая под гармошку, Галинка вышла на средину и павой прошлась с Ерыгой. Потом заплясала, закружила длинной черной косой кавалера.

Мы стояли рядом с Сашей. Мимо прошли офицеры; они искоса посмотрели на меня.

*

На фронте тихо. Солдаты обеих сторон не стреляют. Несколько человек ходят по верху траверса. В четвертой роте сидят австрийцы. Один из них угощает Трофима ромом. Трофим хлебнул глоток и вытер бороду.

— Хорош. Сладкий. Спасибо.

Австриец отгрыз кончик сигары и предложил ее Ерыге. Ерыга потянул сигару и закашлялся.

— Ух, крепкая, до чорта крепкая.

Австрийцы смеялись. Но в их смехе не чувствовалось насмешки над Ерыгой, они

смеялись искренне, показывали на тоненькую талию Ерыги, делая большим и указательным пальцем кружок:

— Как рюмочка!

— Безобразие! Безобразие!.. Брататься?! Разойдись! Немедленно разойдись! Разойдись, сукиного сына! — пищал Кривдин.

Никто не слушал подполковника. То тут, то там появлялись в окопах австрийцы.

К вечеру мы отправились на левый фланг; там против нас была позиция немцев.

В отлично оборудованном блиндаже нас уже ждали. Здесь приготовили какао. Хлеба не было. Мы грызли галеты. На секунду воцарилось молчание. Затем с постели, покрытой коричневым байковым одеялом, поднялся толстый немец. Он достал фотографический аппарат и приготовился нас снимать. Его взгляд остановился на мне.

— Почему вы здесь, в окопах, а не замужем?

Немец тщательно разгладил свои повильгельмовски приподнятые вверх усы и предложил мне конфетку.

— Вы были в боях? Да? О! Я читал про таких девушек. Пожалуйста, станьте сюда. Я снимаю.

— Очень хорошо. Очень хорошо, — поблагодарил меня немец.

— Почему ваши вчера стреляли? Не

годится стрелять в своих. Разве вы не понимаете, что эти русские,— я показала на Сашу, Ерыгу и других солдат,— тоже рабочие и крестьяне?

— О!—Немец посмотрел на меня и широко-широко раскрыл глаза. Другой молодой немец подошел к двери и прислушался. Потом, убедившись, что там никого нет, одобрительно закивал головой.

Я уже не могла сдержать себя. Я впервые так говорила:

— Надо бросать войну. Не стреляйте больше в своих. У вас, там, есть настоящие враги.

— Богатые у вас есть, они ваши враги, против них надо воевать,— добавил Гусев, а сам с довольной и веселой улыбкой смотрел на меня.

— У вас полковые комитеты есть?— спросил молодой немец.

— А почему они не кончают войну?— спросил другой.

— Потому что у нас, так же как и у вас, есть генералы, они хотят войны до конца.

Раздался гневный и короткий окрик:

— По местам!

Немцы бросились к винтовкам и выбежали в ход сообщения. Только толстый немец задержался и пропустил меня вперед.

Послышались отдельные выстрелы на правом фланге.

— Идем, ребята, к себе, — Саша взял меня за руку.

— Что ж теперь делать. Ведь война-то не кончилась. Слышь, стреляют.

Ерыга поднялся наверх. За ним полезла я. Саша влез на траверс, из кармана у него выпала газета. Немец поднял ее и развернул. На ней было напечатано: «Окопная правда»...

Над головой просвистела пуля. И опять тишина...

Глава одиннадцатая

Ставропольцы заняли позицию в районе Станиславова.

На костельном дворе сдвинули десятки скамеек. Столы накрыли скатертями, принесли посуду ксендза. Из Станиславова привезли вино. Командир полка, опираясь на свою дубину, оглаживая козлиную бородку, пригласил офицеров к столу. Наполнились рюмки, стаканы. Офицеры произносили речи. Пили за здоровье министров Временного правительства. Прокричали «ура» Керенскому. Туш заглушал крики: «Да здравствует доблестное командование русской армии!» Лилось вино за здоровье полковника Плахова.

На табуретке, пододвинутой к углу стола, сидел председатель полкового комитета солдат Иванов.

— Слово предоставляется Иванову.

Иванов встал:

— У меня имеется вопрос к господам офицерам. Тут говорили всякие речи. Все

это мы слышали. А почему господа офицеры не прокричали, например, ура полковым комитетам?

Иванов вытер пот со лба и угрюмый сел на свое место.

Никто ему не отвечал.

Через минуту подполковник Кривдин предложил тост «за защиту свободы, за войну до победного конца».

*

На улице грохотала артиллерия. Несколько дней с утра и до вечера двигались тяжелые и легкие батареи. Подвозили огромное количество снарядов. Говорили о наступлении в районе Станиславова. Жители рассказывали, что они за всю войну не видели столько «грамат» — орудий. На Сапежинской улице я видела гарцующий полк дикой дивизии. Приехавший из штаба дивизии связной привез новость: со дня на день ждут приезда военного министра Керенского. О нем говорили, будто он «красиво произносит речи» и будет выступать в Станиславове.

В комнате у меня тускло горела лампа. Разбитое стекло было заклеено бумагой. Лампа коптила. Я открыла окно.

Цвела сирень. В теплую ночь молодого лета упала яркая звезда.

Осторожно ступая, к окну подошел Саша.

— Здравствуй!

— Зина, голубушка...

Зарозовел нежный цветень сада.

Саша уходил от меня по дорожке. Над его русой головой курилась пыль рассвета.

Это было в полдень. Выстроившееся карре солдат напряженно ждало приезда военного министра.

Шум мотора. Машина остановилась на улице Сапежинского. По городу пронеслось «ура».

Керенский, заложив одну руку назад, другой облокотившись о трибуну, начал говорить. Говорил он долго. Долго уверял солдат в необходимости довести войну до победного конца. Он говорил о защите свободы. Называл солдат «орлами». Упомянул о том, что Временное правительство уверенно в победе русских войск, что станиславовское наступление будет последним и победным.

...И, одержав эту победу, мы будем близки к миру...

Многие солдаты слушали Керенского, разинув рты. Некоторые плакали.

Я видела лицо солдата, не успевающего подбирать слюну. И, когда словами: «тыл не отстанет от вас, тыл с вами» закончил свою речь министр, этот рядовой, быстро протиснувшись вперед, бросился к ногам Керенского. Я сидела на заборе, и мне было видно, как блестели на солнце коричневые краги Керенского и как лобызал их ху-

денький солдат с тремя Георгиями, исступленно выкрикивая: «Неужто ты за нас? Неужто будет мир?..»

После речи военного министра говорил генерал Брусилов. Лицо генерала с глубокой складкой на лбу было необычайно бледно. Начало его речи солдаты встретили громовым «ура». Генерал говорил недолго, он сказал только о том, что ему больно и тяжело терять веру в силу могучей русской армии. Последние слова Брусилова солдаты заглушили громким «ура».

Стоявший возле меня капитан Крапивянский шепнул Иванову:

— Смотри, сейчас будет говорить Альбер Тома. Послушаем француза.

Но капитан ошибся. Больше никто не говорил. Машина военного министра отбыла, подняв клубами пыль.

Солдаты все еще стояли и смотрели вслед министру. На многих лицах было такое выражение, словно им чего-то не договорили.

— А чего это министр ни слова нам от заводов не передал? От совета солдатских и рабочих депутаций?

*

Ночь. Изредка щелкают затворы. По фронту шарит прожектор. В окопах тихий говор. В ходе сообщения не слышно звона шпор. Не проходит офицер.

Три солдата сидят на соломе. Четвертый поднимается с лежанки:

— Так, значит, и заявим полковому комитету: кончай войну, и никаких. Нечего красным словом людям голову крутить. Один тут сказ.

Саша встал в дверях. Поправил наброшенную на плечи шинель.

— Товарищи, воевать еще придется. За свои земли, за свой интерес. Товарищи, это еще не наша революция, мы еще должны, так сказать, разбить сперва-наперво генералов, попов, которые есть.

Саша передохнул, приподнял на двери палатку, прислушался.

— Временное правительство нас обманывает. Мы должны прикончить с министрами и поставить свою власть. Земля наша должна вся отойти в пользу крестьянства. А своя власть и будет кончать войну и стоять за мир. Я кончил, товарищи. Ура не кричу, потому здесь окопы.

— Правильно! Чего там? Правильно!

— Еще надо заявить полковому комитету, чтоб обкарнали руки полковнику Плахову. Довольно. Пиши заявление.

Голоса не умолкают. Светает.

*

Подходил день штурма. День 18 июня. Дикий вой, гул и беспрерывный грохот в

течение нескольких дней наполнял окрестности. Русская артиллерия забила размеренными ударами из тяжелых батарей. С рассветом открыли беглый огонь из трехдюймовок. Вслед заухали мортирки. Над головами в страшном гудении проносились тяжелые снаряды. В воздухе раскатывалась беспрерывная дробь чугунного барабана. В шуме хаотических звуков человеческий голос был приглушенно тих, словно он вырывался из глубоких недр земли.

Вспыхнула деревня Ямница. Загорелось все небо.

В этом гигантском зареве замолкли на миг пушки. И снова, с утроенной силой, раздался удар. Полился поток свинца из разгоряченных пулеметов.

Скрежет человеческой боли. Тихий плач. И снова вой свинца.

Я вижу солдата Башмакина. Он бьется головой о землю. Тело дергается в конвульсиях. Иссякли силы.

— И-с-п-и-т-ь...

У меня в фляжке есть вода. Я делаю движение в сторону Башмакина. Над головой продребезжало. Гул тяжелого снаряда. Я впиваюсь в землю. Снова ползу в сторону Башмакина. Его глаза широко открыты; у его уха я вижу окровавленную дистанционную трубку; последними усилиями Башмакин освобождает руку из-под убитого солдата.

— Пей, пей еще, Башмакин.

Я лежу на боку и левой рукой даю ему воду. Кровь льется у него из носа. Он снова бьется головой о землю. Я не могу больше смотреть на его мучения, я громко рыдаю и тащу Башмакина; он вырывается у меня, корчась в страшной агонии.

Кто-то промчался мимо и грохнулся. Снаряды разрываются дальше. Я приподнимаюсь. Башмакин вытянулся. Он мертв.

На участке заамурцев двигаются серо-голубые колонны. Это австрийцы сдаются в плен. Над ними голубоватыми клубами разрываются бризантные снаряды. Австрийская артиллерия бьет по своим отступающим частям. Австрийцы бросают оружие.

*

— ...Са... ни... тар...—зовет раненый. Он сидит, раскинув ноги, голова его упала на грудь. Густые капли крови, не расплываясь, падают в смятую траву.

*

Со стороны крымцев послышался шум машин. Пошли броневики. Они идут сюда. Все ближе и ближе. На подножках, с развернутыми знаменами, стоят ударники. На рукавах у них расшиты серебром и золотом шевроны — черепа и кости. Прямо на

них бежала группа наших отступающих солдат. Стоящий на подножке броневика офицер махнул шашкой. Раздались выстрелы. Солдаты, вскидывая руками, замертво упали.

— Говорили, не пойдут в бой, а сами по своим стреляют,— раненый приподнимается.

Я помогаю ему, я хочу помочь ему увидеть все.

— Это офицеры! Дай подыму тебя,— погляди сам. Ну, ложись теперь. Видишь, помогла перевязка, легче тебе стало.

— Легче. Может, и до дому сдюжаю. Это я заамурцев видел, они не пошли против австрийцев. Мабудь, офицеры перебьют заамурцев?

— Ты тихо. Не говори сейчас. Ты поспокойнее. Легче будет.

*

После трехдневных боев части остановились под Калушем.

Утром мы узнали о взятии Калуша. Раненые рассказывали о погроме в городе.

— Кавалерия дикой дивизии, пьяные все, по городу носится. Нагайкой коню подсыпат, за бабами гонятся. А они, миленькие, так с моста и хлобысь в воду. Это, значит, они удирать взялись от всадников. Сколько баб перепорчено — ужасть! И гал-

дит кавалерия, по улицам носится и, етта, по лавкам всюду бегает, и пьяные все, пьяные.

Саша ходил с подвязанной рукой. Его легко ранило. Мы не расставались с ним все эти дни.

— Скоро мы с тобой в Питер махнем. К Насте Ивановой поедем в гости. Скоро будет наша власть, вот посмотришь. Ты обожди меня здесь, я в штаб полка схожу.

Я осталась во дворе. Из огорода шел дед. Он нес кукурузу.

— Всю, чисто, помяли. Кавалерия вытоптала. Чем зимой будем кормиться?

Гурьбой прошли офицеры. Только Кривдин тащился сзади. Последнее время офицеры собирались группами и редко ходили в одиночку. Один из офицеров громко рассмеялся и сразу смолк. Они пошли быстрой неспокойной походкой.

Австрийцы бьют по шоссе, идущему в гору. Это единственный путь в случае отступления наших.

— Пристрелку делают. Не выберемся мы отсюда. Ну-ка перевяжи мне, Зина.

Саша посмотрел на меня своими синими глазами; они были грустные-грустные.

Ночью прошли ударные части. Два офицера ворвались на перевязочный пункт и потребовали у врача кокаина.

Усталые врачи, едва успевавшие накладывать раненым повязки, возмущенно по-

просили ударников оставить пункт. Пьяный кавалерист толкнул доктора Морозова и бросился к фельдшеру.

Саша подошел к офицеру:

— Господин поручик. Доктор занятый, вы бы полегче.

— Отойди в сторону, куда лезешь? Офицеру не мешать.

— Я член полкового комитета, имею право.

— Член. Действия офицера проверять?

Поручик передразнил Гусева и расхохотался. Саша подошел к нему ближе. Смех офицера оборвался, словно он поперхнулся хохотом. Он порывисто запахнул бурку и ушел с перевязочного пункта.

Глава двенадцатая

Облака нахлынули волной. Дождь пришел внезапно. Ветер донес свежесть леса и цветов. Березы стояли белые-белые. С их зеленых, гибких ветвей сбегали чистые капли дождя.

Ветер унес с собой тучи. Горячие солнечные лучи снова ворвались в день.

Мы собрались в школьном дворе. На груде кирпичей стоял капитан Крапивянский. Ему не давали говорить. Его речь прерывал прибывший из штаба корпуса и окруженный офицерами грузный полковник.

— Солдаты, преданные России, солдаты! Вам известен погром в Калуше. Вы теперь сами убедились, к чему ведет подрыв воинской дисциплины. Для окончания войны необходимо поднять дисциплину. Вернуть права господам офицерам. Упадок дисциплины привел к погрому... Необходимо...

— Не желаем слушать. Долой! Товарищ Крапивянский, говорите речь.

Крапивянский сдвинул со лба серую папаху, с которой не расставался даже в знойные дни лета. Его лицо было оранжевого цвета от южных ветров.

— Товарищи! Вы видели пьяных корниловцев, вы знаете о погроме в Калуше, вы видели ударников Корнилова, у которых было в кобурах по нескольку бутылок спирта. Товарищи, погром в Калуше был организован генералами. Офицеры нарочно спаивали солдат. Разнузданная, пьяная толпа грабила население. В Калуше насиловали девушек. Такое поведение солдат не могло пройти бесследно для солдат и населения Австрии. Высшее командование задалось целью спровоцировать революцию, спровоцировать наши полковые комитеты. Генералы хотят, чтобы полковые комитеты не принимали участия в управлении частями. К погрому велась подготовка. Товарищи, Временное правительство продолжает политику царской власти. Нам известно, что Временное правительство не отдает земли крестьянам, а держит их за помещиками, за генералами. Не поддавайтесь провокации, товарищи. Власть должна быть у пролетариата.

Крапивянский кончил свою речь.

Полковник, встав на сидение в машине, крикнул:

— Арестовать его! Большевик! Задер-

жать его, большевика! Офицера-изменника!

Оправляя на ходу свой красный бант, на груду кирпичей взошел Саша.

— Товарищи! Верно говорил товарищ Крапивянский. Не слушайте офицеров. Кому она, война, нужна-то? — Офицерам. По всей России калеки ползают. Народ изувечили. Долой генералов! Долой офицерскую дисциплину! Ура полковым комитетам! Довольно ихней войны! На генералов, товарищи...

Сзади Саши подошел Иванов и старался остановить его: «Не горячись, Саш, не горячись, говори спокойней...»

... на генералов, товарищи, теперь, на попов теперь!

— Сыпь вперед! — крикнул Ерыга.

Саша не умолкал:

— Долой генералов! За нашу свободу солдатскую, за свою свободу, ура!..

Из офицерской группы раздался тупой и короткий выстрел.

Он еще был жив...

Саша...

Он смотрел на нас синими глазами.

...Не надо, Сашенька... Не умирай...

— Ты его не трожь. Не трожь, Зина. Чего уж теперь.

— Чего же вы стоите? Чего смотрите, братцы, товарищи?! Нашего убили?! Чего стоите?!

Воздух наполнился заунывным свистом, улюлюканием, топотом тяжелых солдатских сапог, беспорядочной стрельбой.

— Держи их... Не пущай машину. Стой! стой! Скидывай погоны с них!

— Товарищи, прекратить беспорядок. Полковой комитет во всем разберется. Все равно не уйти им от нас. Эх, Саша... чудак ты, право...

...Это капитан Крапивянский наклонился над Сашей.

— Смертельно ранен. Остались секунды жизни.

Врач медленно снимает халат.

Почему он так медленно снимает свой халат... почему...

*

Вечером, когда померкло небо, мы хоронили Сашу.

— На, возьми.

— Иванов, не могу я больше...

— От такого горя, Зина, люди крепчать должны. На, возьми.

Не выпуская руки Иванова, я взяла красный бант Саши.

— На, Зина, оботрись! Возьми платочек.

Ерыга вытер мне слезы. Иванов смотрел на свежевырытую могилу тяжелыми, угрюмыми глазами.

В деревне охнул разрыв снаряда.

— Ну, чего ты глядишь и глядишь? Пойдем.

Я смотрела на все еще влажное от дождя поле. Там взлетел жаворонок. Он оторвался от земли и, поднимаясь все выше и выше, звонко запел свою как бы прощальную песню.

*

Ночью никто не спал. Австрийцы били четкими ударами по шоссе. С передовой линии бил частый ружейный огонь.

— Седлай коней! Запрягай двуколки!

— Ждать распоряжения!

— Хватит уж, нараспоряжались...

Солдаты быстро собирали свои вещи. Некоторые прятали в вещевые мешки все, что попало под руку, другие все выбрасывали из мешка.

— Грузите раненых. Быстро!

Но санитаров уже нельзя было остановить. Они бежали по дороге к шоссе.

— Ерыга, бежим вместе, миленький.

— Ну вот, сразу стал миленький. Это уж завсегда так: как приспичит человеку, сразу станет миленьким. Ну, ладно, давай руку и не отставай от меня. Нам теперь, Зина, на Майдан, Повельче, Станиславов,— дорожка знакомая. Гляди, наши батареи несутся.

По бревенчатому шоссе загромыхали колеса орудий.

— Обожди малость. Балалайку-то я забыл.

— Да брось ты ее! А где Иванов?

— Он в штаб побег.

Галопом промчались всадники.

— Ударники удирают.

От деревни Судзянка участилась ружейная стрельба. Мы бежали по шоссе, где был сосредоточен весь артиллерийский огонь. Сзади показались двуколки. Вслед пронеслись на лошадях врачи. Снаряды падали на дорогу. Били гранатами. Пролетел тяжелый снаряд. Донесся шум.

— Ой, возьмите меня! Ой! — кричал раненый.

— Держи влево, тут штабеля.

— Сволочи Крапивянского арестовали в штабе дивизии! — кричал связной и понесся к деревне.

Мы пробежали немного, остановились на одно мгновение, и человеческий поток сбил нас с ног. Мы услышали взрыв и вслед за этим страшный раскат.

— В лесу склады со снарядами подожгли. Горим.

— Теперь не попасть домой...

Вспыхнуло огромное зарево в направлении деревень Гута и Майдан.

— Ударники снялись раньше нас и подожгли, дьяволы, склады.

Снова грохот взрыва. Ерыга вскочил в канаву и потянул меня за собой. Не успели

мы туда скрыться, нас придавило несколько человек. С трудом выбираемся из канавы. На дороге топот, взвизги, ругань, неразборчивые команды офицеров, конское ржание.

Лес ревет, воет, бушуя огнем. Ухо режет ржание безумствующих лошадей. Они боятся огня, упираются и не идут. Их бьют прикладами. Они вырываются, встают на дыбы, скачком обрывают повод и мчатся неведомо куда.

— Стой, кавалерия противника слева!— выкрикнул всадник.

— Спасайся! Кавалерия!..

Артиллеристы режут постромки, бьют ножнами лошадей, бросают новенькие мортирки. Уносятся вперед.

*

Деревня Угринов. Здесь я вижу Трофима. Он скачет на одной ноге, опираясь о винтовку. За ремнем у него воткнут офицерский револьвер без кобуры. Брюки Трофима в крови. Он без шапки. Трофим не отстает от перегруженной ранеными подводы.

— Трофим, ты ранен?

— Зацепило малость.

На белом «Маркизе» проскакал поручик Замбор. Стремя ударило Трофима. Трофим Терехин вытащил из-за пояса револьвер.

Спокойно прицелился. Замбор упал с коня. Мимо, поднимая столб пыли, промчались три офицера.

«Маркиз» стоял смирно. Терехин взял повод. Неловко уцепился за луку седла:

— Ой, Зинушка. Как же я теперь? Как поеду домой,— деньги-то я все растерял. Вон, подыми мне еще гривенничек. Как же я без гостинцев домой приеду? И Машутка с Васюткой ждут, поди. Растерял я деньги-то все, господи, царица небесная.

— Ты садись, Трофим. Садись.

— Подсадили тебя? Ну, айда теперь. Кати на поезд!

— Прощевай, Ерыга. Прощевай и ты, Зина. Теперь на Расею. В Липки еду, прости, господи.— Трофим перекрестился.

Завертелись колеса санитарной повозки. Широкой рысью пошел «Маркиз».

*

Далеко на западе идет перестрелка. Галопом, на взмыленных лошадях, с зажженными факелами носятся по деревне корниловцы.

— Жги, сжигай все до погибели... Поджигай хлеба, чего остановился?

На окраине села маленькая хата. Окруженная ребятишками, на пороге сидит галичанка.

— Жги все, не жалей!

Женщина упала на колени, заломив руки, умоляла без крова не оставить.

— Австрияк твой насупротив нас пошел! А ну, ребята, поддай-ка ей жару.

Всадники хлеснули нагайкой женщину, ребятишки побежали к полю. Они метались там, среди горящих снопов ржи.

*

Дорога идет на Тысменицу. Кто-то из артиллеристов сообщил о том, что немцы уже заняли Тарнополь. Носятся слухи о взятии Волочиска. Доносится весть о нашем окружении. Но никто не задумывается. Все идут вперед и вперед. И вскоре движение войск можно было определить по зареву пожаров. Небо огибала багровая подкова.

Деревня Слобудка Лесна. Протарахтела патронная двуколка. Быстро пробежали босые пехотинцы. Их обогнал взвод кавалерии.

Это, очевидно, был наш арьергард. Теперь можно было ожидать австрийского разъезда.

Я сижу у того же сарая, где сидела ночью. Я проспала много часов. Ерыга, наверное, искал меня. Зачем я забралась сюда? Но ведь это ж при дороге. Меня заметят. Утром я еще могла попасть на повозки седьмой дивизии. Я могла еще

утром догнать своих. Как я смела отстать?

Но так страшно было сейчас шагать. Ноги не слушались больше. Мы прошли десятки километров без сна.

Ружейные выстрелы. Но это где-то далеко. Все равно, надо вставать, я могу попасть в плен. Я с силой, настойчиво уговариваю себя подняться и снова валюсь на жесткую землю. Но не все ли равно, на чем спать?

Мягкая постель есть там, дома. На один миг в мыслях промелькнула мать у моей чистой и мягкой кровати. Но я стремглав встала. Заставила себя выйти на дорогу. Залезла на высокое дерево. Яркий закат осветил горизонт.

Я смотрю на дорогу. Вдали я вижу реденькую цепочку солдат.

Розовой далью уходили на запад леса. А там, за ними, далеко в поле остался Саша...

На дороге показалось маленькое облако пыли и темное пятнышко. Оно становится все больше и больше. Приближаясь, растет все яснее и яснее... Это всадник! — разом мелькнуло в голове. Я шире раскрываю глаза, словно этим можно улучшить зрение. Кружочками складываю пальцы и смотрю, как через очки. Через несколько минут мне ясно виден человек в белой рубахе. Он размахивает рукой над лошадью. Приближается.

Влево на опушке показалась группа всадников в серо-голубых куртках. Стрельба прекратилась.

...Разъезд, венгерский разъезд. Куда ж теперь? Да нет. Это ерунда. Ведь австрийцы еще очень далеко.

Всадник в белой рубахе летит к сараю, у которого я проспала столько часов. Покрутившись там волчком, снова мчится к деревне.

Все чаще и усиленней бьется у меня сердце. Я слезаю с дерева и выбегаю на дорогу. Как обычно мальчишки подгоняют лошадей, широко расставляя ноги, бьет всадник каблуками бока лошади. Он приподнимается на стременах, и я вижу знакомую тоненькую талию Ерыги. Я чувствую, как спазма подходит у меня к горлу. Кровь приливает к голове. Я вижу перед собой товарища. Вот он протягивает ко мне руки, я вскакиваю в седло, лошадь поворачивает обратно.

Мы долго и молча скачем. Молча спускаемся в долину и затем въезжаем в гору.

Ерыга передохнул. Вытер лицо.

— Мы тебя искали. Я думал, ты на повозке седьмой дивизии пристроилась. А ребята сказывали, будто видели тебя при дороге у хаты. Товарищ Иванов поехал в Крымский полк митинг устраивать, а я за тобой подался. Товарищ Иванов наказывал отыскать тебя. Зин, у нас беда: кор-

ниловские ударники пулеметы забрали, один остался.

— Один, говоришь?

— Один, Зина, «Максимка»! У корниловцев офицерья собралось,— страсть! Севастопольцы снялись с позиции, бросили оружие. Мы будем пробиваться через корниловцев к станции. Не пускают они нас в Россию. По всему фронту каша. Кто куда. Говорят, будто по приказу министров митинги запретили устраивать. Солдат, Зин, расстреливают. Ребят не удержишь: что бы ни было, а воевать, говорят, не будем.

— А разве Крапивянский на последнем митинге не говорил—пока не будет власти рабочих и крестьян, ничего хорошего не выйдет. Министры, он говорил, поддерживают генералов и офицеров во всем.

— Это и Иванов говорил. Офицеры озлились, как волки зубами на нас клямцают. Только опять же и ребята, которые есть, неправильно поступают: оружие побросали. А если своя власть будет, чем защищаться будем? Офицеры нас разоружают. И сейчас где какой солдат про политику разговаривает, его сейчас хлоп и арестовали. Вот она, свобода ихняя.

Глава тринадцатая

Медленный рассвет в деревне. Тихо течет Збруч.

На соломенной крыше маленькой хаты гнездо аиста. Аисту некогда. Он отец. У него подросли дети. Начинается урок летного дела. Молодняк забирает высоту. Молодые и смелые, они отважно виражируют. Выученные, умело снижаются.

Старый аист прокалывает длинным, как штык, клювом дым над хатой. Довольный, он опускается к гнезду.

Под крышей люди.

Здесь не спят несколько ночей.

Напряженные думы.

Штаб полка.

Офицеров нет. Одни солдаты.

Над столом пар от горячего кукурузного хлеба.

Стучит аист. Там снова начинается урок. Скоро осень и отлет.

— Надо во что бы то ни стало прорваться к станции! Надо во что бы то ни

стало подбросить корниловцам вот эти воззвания. Чтоб не шли заодно с генералами и офицерами против нас. Севастопольцев, отказавшихся укреплять позиции, корниловцы разоружили, зачинщиков расстреляли, а остальных арестовали. Товарищи, нас осталось мало! Мы сидим, как в мышеловке. До нас не допускают нашу газету «Окопную правду». Вот последний номер газеты «Окопный набат». Вы сами теперь знаете, нам надо одной власти верить, своим выборным.

— Все одно, к станции пробьемся! Никаких ихних приказов боле слушать не будем. Давай нажимай, чего там еще на плант наносишь! Чего рассусоливать? Веди в бой, и никаких.

— Ты погоди, погоди. Не горячись. Шибкий больно. С чем пойдем-то? Пулемет один. Людей мало.

— Не так уж мало. А в бой я поведу сам. Дай обмозговать.

— Без офицеров не больно много накомандуешь, они все знают. Теперь как без них будем? Погоны-то с них постаскивали.

— Как, как! А ты думаешь, они заодно с тобой воевать будут? Они сейчас или с корниловцами, или просто удрали кто куда.

— Давай нанеси на плант, товарищ Иванов. По планту будем наступать.

В маленькое окно смотрел голубой день.

— Высоко забирают.

— Кто, товарищ Иванов?

— Вон аисты. Глянь.

— Шутковаты нема чего. Черногус летае и хай собі летае. А к корниловцам я пойду. И воззвания я им кину.

— Ты, Запорожец? Да ты как жердь! Нигде не пролезешь.

— Ну, а хиба що? Схилиться нельзя чи що?

— Нет, Грицко, ты парень боевой, только для этого дела не годишься. Рослый больно. Вот Ерыга, тот бы подошел.

— Ну, а Ерыга-то ведь пулеметчик. А их у нас и так нехваток.

— Может, ты, Семен?

— А мне что. Могу и я. Один раз помирать.

— Ну вот и помирать. Ты про жизнь думай. Про жизнь думай.

— Товарищ Иванов! Разреши мне. Да ты не смотри на меня так. Я не боюсь итти к корниловцам, мне твое недоверие страшней. Ну, не пугай меня!

Я улыбнулась Иванову.

Иванов медленно выпрямился. Медленно отнял свою широкую руку от стола. Может быть, его рука, напряженно опиравшаяся все время о стол, набрякла, только его ладонь показалась мне тяжелой-тя-

желой. Осторожно освобождая руку, я боялась ее опустить, словно вместе со своим пожатием Иванов передал мне что-то очень большое.

Я боялась уронить с ладони его пожатие.

*

Солнечный луч расколол тучу. Весело перекликались в деревне петухи. На окраине у последней хаты копошилась старуха. Она носила колья и сама чинила изгородь, чтобы скотина не поела сложенных в груду овощей.

Моя тропинка свернула влево, за село. Вскоре я вышла на широкую дорогу. По ней продвигались крестьяне-беженцы. Одни шли на восток, другие на запад. Мне было легко итти босиком. Со мной рядом шли женщины, такие же как я,—в вышитой рубашке, в широкой юбке и шерстяном платочке на голове. Беженцы шли босые, как покидавшая фронт армия солдат.

Ноги горели. Их касалась широкая складка моей юбки. Там были зашиты аккуратно свернутые листочки воззвания. Я шла быстро, прислушиваясь к каждому своему шагу. В такт шагам ударяли в голову слова воззвания:

...мы, солдаты-пехотинцы, шлем вам порицание... вы, ослепленные шовинистическим контрреволюционным офи-

церством, идете на разгром Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вы идете против нашей, против своей же власти, защищающей интересы рабочих...

*

Прошло много часов. Над Збручем рассыпались звезды. Осенняя, огненная луна пробралась сквозь тучу. Вдоль берега отцветал съежившийся кустарник. Тихо шелестели тоненькие, прозрачные, похожие на крылья стрекозы листья ивы.

Бледным огнем догорал костер. Устроив у повозок колыбель из пестрых одеял, женщины баюкали детей. Ночью шептались старики и утром, оставив ночлег, пошли с женщинами в деревню. Голодный лагерь остался позади, ожидая хлеба.

*

Весь день по деревне рыскали всадники.

От злобы, от скуки ли несколько офицеров играло в городки. Жалобно стонала женщина, умоляя не разрушать изгородь. С какой-то нетерпеливой жестокостью вырывали офицеры неподдававшиеся колья. Рубили их саблями и потешались, как могли.

С шумом распахивались двери большого зажиточного дома. Пять офицеров, выйдя

из штаба, вскочили на коней и догнали всадников. Все они устремились к шоссе, ведущему на Каменец-Подольск.

Когда синие сумерки покрыли село, на площади собрали митинг.

В этих августовских сумерках лица собравшихся всадников в лохматых бурках казались лиловыми, как туча. Они заслонили собой громкий молодой голос:

— Солдаты России! Герои корниловцы! Вы, сознавшие необходимость железной дисциплины, вы знаете о том, что наша армия была боеспособна, сейчас она превратилась в обезумевшую толпу. Еврей Керенский живет во дворце императора и носит царское белье. Он изменник. Он предал Россию и продает немцам позиции. Мы должны спасти Россию от врага Керенского и от большевиков, которые разлагают великую российскую армию. Идет развал на фронте. Части уходят из окопов целыми полками. Там, в центре, во главе Совета рабочих, солдатских депутатов стоит немецкий шпион. Он ведет Россию к гибели. Солдаты соседнего с нами полка отказались укреплять позиции. Два полка нами расформированы. Полки боевого генерала Черкасова, пехотинцы 19-й дивизии отстояли оружие и хотят наступать на нас. Ими командует солдат. Он большевик! Солдаты России, вы должны спасать родину. Да здравствуют ка-

рательные отряды! Да здравствуют спасители России герои корниловцы...

Он еще не кончил говорить.

Крикнули «ура». Офицера подняли.

И я увидела знакомую, такую близкую фигуру, похожую на Сашу Гусева.

Никто не услышал моего вскрика. Только стоявшая рядом со мной крестьянка толкнула меня и потянула за юбку.

...И такой же молодой...

...И так же сдвинута фуражка набекрень...

...и белокурый локон...

...да здравствуют карательные отряды... часть отстояла оружие, и ею командует солдат...

Угрюмое небо словно качнулось от ветра. Зашатало людей в лохматых бурках...

Еще никого не было в хатах. Не вернулись с митинга солдаты...

Развернутые листочки воззвания шевелил ветер. На них дышали слова:

> **... мы, солдаты-пехотинцы, шлем вам порицание, вы идете на разгром Советов, против единственной нашей власти, защищающей интересы рабочих, солдат и крестьян...**

*

Над Збручем мерцала звездочка. Единственная в осенней ночи. Под темным небом спали беженцы.

В эту ночь лагерь не досчитался одного коня.

Я изо всей силы колотила босыми ногами худые бока лошади.

Ночь была косматая от туч. Растрепанная, как осень.

*

— Секреты выставлены, товарищ Иванов. Для усиления правого фланга пошел взвод крымцев, хорошо вооруженный и имеющий при себе бомбы.

— Не сдюжаю во всем разобраться. Як бы голова была побольше, а то с такой таракуцькой разве разберешься во всем.

— Ты старый солдат, Запорожец. Должен все понять. Я тебе поручаю правый фланг. Понял?

Иванов вышел из штаба.

— Зин, а чего там офицеры говорят?

Запорожец протер винтовку и несколько раз щелкнул затвором.

Я слышала, как офицеры говорили про солдат: «Сволочи, а с их настроением считаться, подумаешь еще, — солдат теперь, как капризная дама!»

Запорожец громко рассмеялся.

— Я разболована жинка! Во-во, именно так. Что ни говори, а мы одни сами за себя. И раз в Советах есть наши выборни, за них и надо стоять. А я—разболована жин-

ка, и больше ничего. И ничего со мной не сделают. Не хочу за них воевать и не пиду.

Словно вихрь ворвался. В хату вбежал Ерыга.

— Зина, идем со мной. Товарищ Иванов велел допустить тебя номером к пулемету.

— Меня, говоришь? Иванов велел?

— Он самый. Потому как ты хорошо умеешь задержки устранять.

*

Страшная тишина и темный август стояли над нами. Серпом был загнут правый фланг Запорожца. Здесь с пулеметом находился Ерыга. Головная часть Иванова заняла хутор Петраковцы, вблизи от шоссе. Левый фланг расположился у опушки леса. Там у людей имелись бомбы, и там находились лучшие стрелки.

В этой темной ночной тишине, казалось, слышно было биение сердца. Предрассветный час. Ожидание атаки. По сведениям, карательный отряд корниловцев, во много раз превосходящий силы Иванова, должен был нанести удар на хутор Петраковцы.

— Неужели так и пойдут по шоссе?

— Пускай идут. Мы их подпустим поближе и вдарим с правого фланга.

— У них кавалерии много.

— А против пехоты кавалерия не страшна. Не велики страхи.

В рассвет ударил выстрел.

— Эх, молчали бы. Ведь говорил Иванов: до времени не открывать стрельбы. Невыдержка. Обнаруживают себя.

— Надвигаются... Началось, Ерыга.

— Никого не вижу. А выстрел-то был от них.

Снова выстрел...

— Идут...

— Ух ты, сколько их! Нечистая сила. А ну, отодвинься. Да чего ты дрожишь? Ты не бойся. Мы не сдадим.

— Страшно. Бегут... Густой цепью. Открывай огонь, Ерыга. Пошли... пошли прямо на Петраковцы.

Впереди неслась, размахивая саблями, офицерская орава. Бесперебойно забил пулемет Ерыги. Залпами ударили люди Запорожца. Огонь разрезал шоссе. Смятые огнем, корниловцы не останавливались. Со стороны леса, с левого фланга били лучшие стрелки. Как буйный ветер, вырвалась на бугор кавалерия корниловцев. Она хлынула на правый фланг Запорожца. Снова четко забил пулемет. По всему участку Иванова открылся ружейный огонь. Всадники в черных бурках, сбивая свою пехоту, ринулись влево. Видя замешательство противника, стремглав поднялась цепь Запорожца. В это время показалась новая цепь офицеров. К пулемету Ерыги подбежали его солдаты:

— Бросай, пулемет! Отступай.

— Кидай все!

— Стой, не тронь хобот! Куда поворачиваешь? Стой! Все одно они нас расстреляют.

— Не сдавайся. Не бросай оружия! Зин, подавай ленту.

Но Запорожца никто не слушал. Люди бросали винтовки. В это мгновение со стороны Петраковцев двинулась головная часть Иванова. Они бежали на помощь правому флангу. Слева раздался грохот бомб. Всадники в панике сбрасывали с себя бурки, падали с лошадей. На правом фланге солдаты, увидя суматоху в рядах корниловцев, хватали на ходу винтовки, только что ими брошенные, и догоняли Запорожца. Опрокинутые пулеметным и ружейным огнем, корниловцы тучей неслись к лесу. Правый фланг загибал все больше и больше. Запорожец своими длинными шагами догонял удиравшего от него офицера. Казалось, его штык вот-вот клюнет корниловца.

В воспаленной голове проносились мысли:

Сейчас все будет кончено, все ясно.

Захваченные с одной стороны серпом Запорожца, стремительным натиском Иванова, двинувшегося со стороны Петраковцев прямо по шоссе, и нарвавшиеся на лучших стрелков и бомбометателей левого фланга,— корниловцы бросят оружие...

И когда все смешалось, многие из них сами срывали с себя погоны, рвали свои голубые шевроны, падали на колени... кричали, и они, только что умолявшие о пощаде, вдруг, увидев воспрянувшую группу офицеров, снова оторвались от земли и снова бросились в атаку.

Я видела, как прямо на Иванова бежал офицер с наганом. Его фуражка сбилась набекрень.

— Подавай ленту... Скорее по резерву... Ах, ты! Он не видит, Иванов-то!..

— Стой, не стреляй, Ерыга. Идет резерв солдат. Смотри: они стреляют вверх. Не бьют по нашим.

Офицер бежал на Иванова. Его белокурые волосы развевал ветер...

...да вот же она... винтовка! В и н т о в к а!

В окопах, скручивая козью ножку и насыпая в нее махорку из кисета, Василий Климыч всегда мне говорил:

— Хорошо стреляешь. Метко...— и прятал старенький кисет в карман валяющейся шинели.

*

Мертвая рука белокурого молодого офицера не разжала нагана. Он лежал на дороге, ведущей на Каменец-Подольск. На

той дороге, по которой солдат Иванов увел своих людей, с оружием в руках, на защиту Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Ответ. редак. К. Зелинский
Техническ. редактор Н. Греймер
Уполномоч. Главлита № Б—14006.

*

Тираж 10 200 экз. С. П. № 22. Сдана в производство 9/X 35. Подписана к печати 9/I 36

*

Колич. листов 6½. Бумага 72×90с/м
Заказ № 876
39-я типография „Мособлполиграфа“, ул. Скворцова-Степанова, д. 3.

ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Надо
82	7 снизу	пся прев	пся крев
87	7 „	Протяжение	Протяжное
97	4 и 5 „	такак	такая

К книге Т. Дубинской „Пулеметчица“

39-я типография „Мос...
ул. Скворцова-Степанова, д. 3.

Цена — 1 р. 50 к.
Переплет — 50 к.

Склад № 12
Литхудсектора КОГИЗа
Средний Кисловский пер., д. 3
Книжные магазины
Из-ва „Советский писатель“
Ул. Горького, 20/2 и 12